
НОЗДРЕВ
ОГОНЬ ВЕЩЕЙ



ОГОНЬ ВЕЩЕЙ

ВЕЩИ ЖГУТ И В СВОЕМ ОГНЕ
РАСПАДАЮТСЯ
ЯОГАСАЯ В ПЕПЕЛ

АЛЕКСЕЙ РЕМИЗОВ

ОГОНЬ ВЕЩЕЙ

СНЫ И ПРЕДСОНЬЕ

ГОГОЛЬ
ПУШКИН
ЛЕРМОНТОВ
ТУРГЕНЕВ
ДОСТОЕВСКИЙ

ОПЛЕШНИК • ПАРИЖ 1954

АЛЕКСЕЙ РЕМИЗОВ

ОГОНЬ ВЕЩЕЙ

СНЫ И ПРЕДСОНЬЕ

ГОГОЛЬ
ПУШКИН
ЛЕРМОНТОВ
ТУРГЕНЕВ
ДОСТОЕВСКИЙ

Второе издание

YMCA-PRESS
11, rue de la Montagne-Ste-Geneviève, 75005 Paris

БРИЧКА

ОГОНЬ ВЕЩЕЙ

СЕРЕБРЯНАЯ ПЕСНЯ

Распаленными глазами я взглянул на мир — «все как будто умерло: вверху только, в небесной глубине дрожит жаворонок, и серебряные песни летят по воздушным ступеням на землю».

За какое преступление выгнали меня на землю? Пожалел ли кого уж не за «шинель» ли Акакия Акакиевича? за ясную панночку русалку? — или за то, что мое мятежное сердце не покорилось и живая душа захотела воли? Какой лысый чорт или тот, хромой, голова на выдумки и озорство, позавидовал мне?

А эти — все эти рожи, вымазанные сажей, черти, что куют гвозди для грешников, и эти, что толкают и жгут бороды, а на земле подталкивают на тайный поцелуй и на подсматривание, и эти, что растягивают дорогу, возбуждают любопытство и чаруют, все это хвостатое племя, рогатые копытчики и оплешники, обрадовались!

Да, как собаку мужик выгоняет из хаты, так выгнали меня из пекла.

Один — под звездами — белая звезда в алом шумном сиянии моя первая встреча.

«Гром, хохот, песни слышались тише и тише; смычок умирал, слабея и теряя неясные звуки; еще слышалось где-то топтанье, что-то похожее на ропот отдаленного моря, и скоро все стало пусто и глухо».

И скучно.

«Мне скучно — до петли».

Как быть тому, кого выгнали на землю безысходно? Как стать бессмертному «неземной стихии» человеком смертельной доли?

Жадно он припал к земле и пил сок земли. И его горящая пламенем ада «красная свитка» погасла.

Обернувшись в человека, он стал, как все, как всякий «добрый человек»: нет ни когтей на лапах, ни рогов и хвост в-прижимку, — бесшабашная гуляка.

Став человеком, он посмотрел на мир — наваждение чудовищного глаза, огонь вещей — люди живут на земле в гробах и под землей в гробах доживает их персть, человек вероломен, вор и плут, глуп и свинья, а власть человека над человеком страх.

И обернувшись в свинью, он побежал на ярмарку в Сорочинцах, вздувая красный страх и хрюча.

С пьяных глаз добрые люди прозревали меня в свиной личине, и обуянные страхом, видели меня собственными глазами.

И были правы: чтобы увидеть больпе, чем только под носом, надо вывихнуться, взбеситься: простой средний глаз, как и это ухо, какая бедность и ограничено: «хлеб наш насущный» в неисчерпаемом богатстве красок, звуков и чувств.

Шинкарь — первый из добрых людей, и первый обманщик — продал до срока заклад: мою «Красную свитку», и вот стоя на молитве, слышит шорох, и показалось ему, во всех окнах повыставились свиные рыла и на ногах, длинных как ходули, влезли в комнату и плетками — тройчатками отлупили.

Волостной писарь наугощался на ярмарке и проходя поздним вечером через проклятое место, где угнездилась «красная свитка», видит, как из слухового окна сарая выставилось свиное рыло и хрюкнуло так, что мороз подрал по коже.

Старухе-бубличихе, она раскланивалась весь день без надобности и писала ногами совершенное подобие своего лакомового товара (ее подвижная лавка рядом с яткой шинкарки) — почудился нечистый в образе свиньи: поджав по-собачьи хвост, он беспрестанно наклонялся над возами, искал чего-то — или левый рукав своей пропавшей «красной свитки»?

К ночи добрым людям, они жались друг к другу от страха, страх мешал сомкнуть глаза: и хмелевшему от выпитого для храбрости Солопию и его жене Хивре и куму Цыбуле (его щеки расцвели маком и походил он не на цыбулю, а на бурак или вернее

на бесовскую «красную свитку») и тому превыше всех храбрецу — от страха верзила полез в печь и несмотря на узкое отверстие сам задвинул себя заслонкой — всем им послышался какой-то неясный звук, весьма похожий на хрюкание свиньи.

А когда стали осматриваться и шарить по углам, Хивря, отрезвившись от еще большего страха: застигнутая со своим поповичем, она спрятала его на полати и сидела, как на иголках, и тряслась, как в лихорадке, Хивря разъяснила перепуганным, что послышавшийся хрюк вовсе не свинячий, а «один кто-нибудь, может, прости Господи, угрешился или под кем-нибудь скамейка заскрипела».

Ободренный убедительным доводом Хиври, что это никакое наваждение, а дело житейское, кум продолжал рассказ о чорте, которого чорта из пекла на землю выгнали за какое-то доброе дело, и о его пропавшей «красной свитке» и проклятом месте, его бесовском гнезде.

«Да нелегкая дернула заседателя — от...»

Но окончание слова «от-вести» превратилось в камень и застряло у него в горле: стекла звеня вылетели вон и страшная свиная рожа выставилась, поводя глазами, как бы спрашивала:

«А что вы тут делаете, добрые люди?»

А эти — вы, добрые люди, волосы от страха поднялись горой и хотели улететь на небо, а сердце колотилось, как мельничная ступа и пот лил градом и на душе так тяжело, будто кто взвалил на тебя дохлую кобылу —

Эти добрые люди, готовые от страха вскинуть себе на шею петлю и болтаться на дереве, как колбаса перед Рождеством в хате, лишь бы когда наступит глухая ночь, все равно где, под поветками, в яслях, одному свернувшись, другому в роскидь, храпеть, как коты —

Эти добрые люди — этот мокрый петух, этот кофейник в чепчике на гусиных лапах или нижняя часть лица баранья, эта дряблая старушонка, сушеная слива, она взвизгивает от умиления перед серым валеным сапогом, расшитым зелеными шелками, с ременным ушком вместо глаз: «слюнчик ты наш!» — и эти безглазые бороды, заступ, лопата, клин, бесповинные пни, оседланные бабами с их любовью «пастись на одной травке» —

Эти — вы добрые люди с лицом лопаты или свежей еще непоношенной подошвы — короткие и густые под носом усы, кажущиеся мышью, вот он ее поймал и держит во рту, подрывая мо-

нополию амбарного кота — чтоб ты подавился! чтоб ему не довелось, собаке, по утру рюмки водки выпить! чтоб твоего отца горшком в голову стукнуло! чтоб ты поскользнулся на льду! невареный кисель твоему батьке в горло! чтоб ему переломались об черствый гречаник все зубы!

И эти — с харей в морщинах, будто выпотрошенный кошелек, «я не видел твоей матери, но знаю, дрянь, и отец дрянь и тетка дрянь!»

И эти — пепельные, топорные, цвет изношенного сюртука, без капли мозгу, проклятые медведи с железными лапами, старые кабаны, каркающие вороны, рычащие быки, угорелые кошки, мухи с подрезанными крыльями, или просто одни густые брови —

И все эти — негодные и ненужные, коротенькие, вся эта Божья тварь, бестолковая башка, собачий сын, змеиное отродье — все эти «названные братья» — вероломный Петро и мстительный Иван с местью самой жестокой муки: «хотеть отмстить и не мочь мстить!» — все вы, что были, есть и по вас будут, вы полосатые свиньи, испугавшиеся своего двойника, меня, обернувшегося свиньей или моей мысли, внушенной ярмарочному цыгану, бессовестному обманщику, изловчившемуся под оградой страха получить от Грицка его волов за пятнадцать —

— Лабардан!!!

РАЙСКАЯ ТАЙНА

Тот самый чорт — за какое-то доброе дело его выгнали из пекла на землю, сжигаемый мечтой воплотиться (а как же иначе, в ад не принимают), действовал на земле, а людям казалось грех ходит в мире и соблазн. То он гуляка в красной адского пламени свитке («Сорочинская ярмарка»), то бесовский человек Басаврюк («Ночь накануне Ивана Купала»), то запорожец в красных, как жар, шароварах («Пропавшая грамота»).

На какой-то срок он сгинет: занялся ли своей бесовской бухгалтерией или наводил порядок в своей заваленной бумагой конуре: сколько одних расписок «по душу», купчих с подсохлой кровью от этой двуногой твари с робким вихлявым сердцем, коротким умом и лишь с выблеском воли, а сертификатов, — да не

похерив, за такую сволочь наверняка повторно погонят из пекла в три шеи, — делов не оберешься.

Гоголь проснулся:

«Какая тишина в моем сердце, какая неуклонная твердость и мужество в моей душе!»

Но это было не пробуждение в дневную призрачно-размеренную жизнь, а переход в другой глубокий круг сновидений (В «Портрете» у Чарткова). И то, что увидит Гоголь в этом круге, будут его воспоминания в «Старосветских помещиках».



В «Старосветских помещиках» безо всякого «злого» духа: разжигает оплешник человеческие страсти, рост и развитие жизни, — изображается райская безмятежная жизнь, ясная и спокойная человека доброго, радушного и чистосердечного, само собой бездетного, и как всякая жизнь на земле, будь она райская или насекомая, проходит под знаком всепожирающего времени: коли живешь, плати оброк смерти. Никто не знает, когда, но пожар неизбежно возникнет и сгорит дом человека, кончится спокойная жизнь без тревог — без мысли, лишь с плывом райских грез».

В «Старосветских помещиках» представлен сказочный рай — сад, который Бог насадил для человека.

Благословенная земля родит всего в таком изобилии, и никакое хищение не заметно, девичья беременеет и плодится, как мухи, словно бы от самого воздуха — ведь холостых в доме никого не было, кроме комнатного мальчика, ходил в сером полуфраке, босиком и если не ел, то уж верно спал (скажу по секрету, все очень просто, привычная приятная работа самого Афанасия Иваныча), и все желания исполняются, как по щучьему велению: на столе откуда ни возьмись скатерть самобранка с пирожками и рыжиками, сушеными рыбками и жиденьким узваром. Да и желания в таком райском состоянии так ограничены, что как будто их и звания нет: попить, поесть, поспать.

В античной трагедии герои цари. А выведены они царями показать человека, матерьяльно достигшего всего и не нуждающегося ни в чем — наше с грозою всяких денежных сроков — квартира, электричество, газ никак их не касается, а на таком независимом от консьержки царе, подлинно вольном человеке, явственно бес-

примесно выступает «игра судьбы», действие рока и всех его сил, над которыми человек — царь не властен. Никуда не убежишь и повернуть никакими жертвами не умолишь и не уломаешь: стукушка наверняка с отбрыком ли, покорно ли, все равно.

В «Старосветских помещиках» дано в математически-чистом виде блаженное райское состояние человека, освобожденного от *мысли* и *желаний,* над которыми тяготеет первородное проклятие *время-смерть,* показать чтобы высшее и единственное: любовь человека к человеку.

Сила этой любви так велика и уверенна, что дает спокойно умереть человеку.

«Мы скоро увидимся на том свете!» говорит перед смертью Пульхерия Ивановна. «Положите меня возле Пульхерии Ивановны!» последнее слово Афанасия Иваныча.

Сила этой любви так велика, ни в какой рубль не оценишь, и так уверенна и убеждена, библейское звучит в завещательном последнем слове Пульхерии Ивановны, когда оставляя на ключницу Явдоху своего (любовь самая закоренелая собственность) Афанасия Иваныча, обещает, что сама поговорит с Богом о награде ей или о тяжком наказании, если Явдоха ослушается.

Вот почему противоположение: «страсть» и «привычка» в словах Гоголя по поводу «жаркой» печали Афанасия Иваныча и через пять лет по смерти его «прекрасной» Пульхерии Ивановны, надо понимать, как противоположение «страсть» и «любовь». «Привычка» забывается, «страсть» проходит (погасает), а «любовь» — судьба.

Оттого ли, что изображая «низменную», «звероподобную» — без мысли и желаний — райскую жизнь человека, Гоголь постеснялся употребить большое слово «любовь», но, конечно, подразумевал именно это редчайшее среди людей — любовь; да раз даже прошибся и всеми словами сказал: «нельзя было глядеть без участия на их взаимную любовь».

О «привычке» Гоголь рассказывает особо в «Ссоре»: вот между Иван Ивановичем и Иван Никифоровичем была соседская привычка. Тоже Пульхерия Ивановна привыкла к своей ласковой серенькой кошке или говоря словами рассказа: «Нельзя сказать, чтобы слишком любила, но просто привязалась к ней, привыкши

ее всегда видеть». Соседи не помирились и Пульхерия Ивановна, когда пропала ее кошка, забыла ее через три дня.

Любовь не забывает. И через пять лет всеистребляющего времени, а эти Гоголевские русские 5, как у Достоевского, как и в народных сказках, означает «век», высшая мера, Афанасий Иваныч при воспоминании о Пульхерии Ивановне заплакал.

Противоположение «страсть и привычка» смутило Белинского: Белинский не понял самого духа повести о любви человека к человеку и был очарован этой низменной повестью именно за «эту «привычку» — что вот Гоголь «среди пошлости, гадости жизни животной, уродливой, каррикатурной двух пародий на человечество, двух актеров глупой комедии» все-таки нашел человеческое чувство «привычку». —

«О, бедное человечество, жалкая жизнь!»

А кто это скажет, будто «райское блаженство» такое высокое препровождение времени? Нет, должно быть, это очень скучно и для таких, как Лермонтов, просто делать в этом раю было б нечего. Да и сам Гоголь ведь только «иногда», «на минуту», на «краткое время» соглашается попасть в этот рай. А что вспоминает так горячо, потому что для нас это «потерянный рай».

А рай им представлен лишь для того, чтобы показать «любовь»: только любовь делает этот рай светом, а пламя этой любви ярче и самой палящей тоски.



Улыбка человека просвет *оттуда*. Это то, что есть в человеке от «клочков и обрывков» другого мира.

Был у Толстого дар разглядеть этот свет — цвет улыбки и унес на волю в темную ночь, озаренный обрадованной улыбкой жить на земле — улыбка Наташи Ростовой, и жалостной — улыбка Катюши Масловой, обреченной на горький труд жизни. Достоевский увидел улыбку — жалкую, искривленную со Креста и ее тень длинную бледную с трепещущей осины — улыбка жертвы за весь мир. Гоголь отметил блаженную улыбку человека — приятную в райском состоянии. Эту улыбку мы знаем от налакавшегося кота, на усищах еще дрожат молочные капельки, такую улыбку у вас я заметил при хорошей погоде, а за собой знаю та-

кую, когда в комнате тепло, любопытная книга и никуда не надо итти и торопиться.

Афанасий Иванович «всегда почти улыбался» и, довольный тем, что подшутил над Пульхерией Ивановной — а шутка у него жестокая: «дом сгорит», — улыбался, сидя на своем стуле.

У Гоголя не в улыбке — Гоголь весь в смехе.

Смеется ужаснувшийся схимник, видя в книге налившиеся кровью буквы: смеется конь — гиблый конь, когда колдун убил свою дочь Катерину, последнюю надежду передать свою колдовскую силу: смеется карпатский всадник, узнав в колдуне своего брата — врага, смеется Петрусь, вспомнив как убил Ивася, смеется панночка-русалка, дрожь берет от такого смеха, смеется Оксана, смеется чорт — «над кем смеетесь, над собой смеетесь!»

И этот Гоголевский смех и никакой он «горький», он тоже *оттуда* — инфернальный этот смех из первого круга его сновидений. Только этот смех слышал Гоголь.

И смех Афанасия Иваныча, «райского человека» инфернальный. И вот почему от этого смеха Пульхерии Ивановне страшно.

Афанасий Иваныч, довольный тем, что несколько напугал ее войной, своей воображаемой саблей и казацкой пикой, смеялся, сидя, согнувшись на своем стуле.

Но откуда у Гоголя: «озирать всю громаднонесущуюся жизнь сквозь видимый миру смех и незримые неведомые слезы»?

Гоголь в жизнь никогда не заплакал, как Достоевский, сочинивший старца Зосиму, никогда попросту не перекрестился.

Достоевский, коснувшись тайны Гоголя в «Сне смешного человека», по себе судя, заподозрил эти незримые слезы: «никогда еще не было сказано на Руси, говорит он, более фальшивого слова, как про эти незримые слезы».

Я скажу, слова о этих «незримых слезах» вырвались у Гоголя из самого сердца: Гоголь их не выдумал, это память его из его глубочайшего сна о любви человека к человеку. И когда свет этой любви погаснет в его сердце — ведь он только Чичиков, и не Николай Васильевич, а Павел Иваныч — сердце его станет угольно черным: он принесет себя в жертву, заморит голодом, и я верю, вернет этот свет.

Пульхерия Ивановна и Соня Мармеладова, «прекрасная» и «премудрая», я слышу то же слово и тот же голос — глас из рая и глас из ада: «Бог не попустит!» у Пульхерии Ивановны из ее безмятежного сердца на жестокое замечание Афанасия Иваныча о пожаре: «их дом сгорит», и у Сони из ее жертвенного сердца на каторжное (по другому Достоевский не может) Раскольникова, что «она захворает, свезут ее в больницу, а Катерина Ивановна помрет и дети, для которых она в жертву себя принесла, останутся на улице и участь сестры ее Полиньки — ее участь «гулящая»! — «Бог не допустит!»

«А может, никакого и Бога нет», конечно, в добром человеческом смысле: попроси — не откажет. Но ни Пульхерия Ивановна, ни Соня по их вере не хотят да и не могут слышать: вера всегда наперекор.

А вот и перекличка 1835 «Старосветские помещики» и 1605 г. «Дон Кихот». В Дон Кихоте в повести о «безрассудном любопытном» про жену Ансельма: «ее желания не переступают за стены ее дома», а в «Старосветских помещиках» «ни одно желание не перелетает через частокол, окружающий небольшой дворик». Перекличка не заимствование, а общее восприятие, Гоголь и Сервантес: Дон Кихот и Чичиков.

Есть в «Старосветских помещиках» автобиографическое: полдневный окликающий голос. Этот голос услышал Афанасий Иваныч, вестник его смерти, слышит и Гоголь и в детстве и перед смертью, когда начнет свой подвиг: сожжет рукописи и откажется от еды.

Есть в «Старосветских помещиках» загадка: серенькая кошка Пульхерии Ивановны. Почему пропадавшая и вдруг появившаяся кошка, это тихое творение, «которое никому не сделает зла» означено, как знак смерти, как тот неизбежный и ничем неумолимый пожар — жестокая шутка Афанасия Иваныча; земной конец доброй бесхитростной души?

В «Майской ночи» ведьма-мачеха, жена сотника, является ночью панночке-падчерице под видом кошки — шерсть горит, железные когти: кошка-оборотень. И в «Вечере накануне Ивана Купала» ведьма оборачивается кошкой. И явившаяся Пульхерии Ивановне кошка была не ее пропавшая, серенькая — ту давно дикие коты съели — а именно оборотень какого-то демона перво-

родного проклятия. И этот демон отравил своим появлением Пульхерию Ивановну: «Пульхерия Ивановна задумалась».

Слышите: «задумалась!»

«Это смерть моя приходила за мной!» сказала Пульхерия Ивановна себе и ничто не могло ее рассеять, весь день она была скучная».

А в гроб положили Пульхерию Ивановну в шкурке съеденной котами ее ласковой кошки — в серенькое платье с небольшими цветочками по коричневому полю.

Такой видел ее в последний раз Афанасий Иваныч и такой останется она у него в глазах.

И услышав полдневный окликающий голос — голос важнее чем видеть — день был тих и солнце сияло, он обернулся. но никого совершенно не было: посмотрел на все стороны, заглянул в кусты — нигде никого. Он на минуту *задумался;* лицо его как-то оживилось и он, наконец, произнес: «это Пульхерия Ивановна зовет меня!»

А может, все это не так, одни мои догадки, чепуха и никакого оборотеня, но одно несомненно: что человеку в райском безвременном состоянии *задумываться* не полагается: мысль и время одно, а время — смерть: «я мыслю, значит, я умру».

И есть еще вопрос, вечный вопрос человека над могилой человека, неразрешимый: «так вот уже и погребли ее, зачем?»

★

И Гоголь заплакал.

«Боже, как грустна наша Россия!» отозвался Пушкин голосом тоски.

Гоголь поднял глаза и сквозь слезы видит: за его столом кто-то согнувшись пишет.

«Кто это?»

«Достоевский», ответил Пушкин.

«Бедные люди!» сказал Гоголь и подумал: «растянуто, писатель легкомысленный, но у которого бывают зернистые мысли» и заглянув в рукопись, с любопытством прочитал заглавие: «Сон смешного человека». И проснулся.

Гоголь проснулся, но это было не пробуждение в день, а переход в другие потайные круги своего заповедного судьбой сна, в тот круг, где он увидит тайну своего преступления — крова-

вую слезу панночки, и тот круг, где откроется тайна крови — «Страшная месть».

Погружаясь в пропастные пространства памяти, он слышит, как глухо шумят и отдаются удары — удар за ударом — мгновенно пробудившихся волн Днепра.

С ПЬЯНЫХ ГЛАЗ

Нигде так откровенно, только в «Вии» Гоголь прибегает к своему излюбленному приему: «с пьяных глаз» или напустить туман, напоив нечистым зельем. Да как же иначе показать скрытое от трезвых те самые «клочки и обрывки» другого мира, о которых расскажет в исступлении горячки Достоевский.

И нигде, только в «Вии» с такой нескрытой насмешкой над умными дураками применяет Гоголь и другой любимый прием: опорочить источники своих чудесных откровений.

«Но разве вы, разумные, — говорит он, подмигивая лукаво, — можете поверить такому вздору?»

А простодушным, этим доверчивым дуракам, прямо:

«Чего пугаться, не верьте, все это выдумка глупых баб да заведомого брехуна».

Или ничего не говоря, представляет своих действующих лиц в таком виде, когда все, что угодно *покажется:* философ натощак сожрал карася — а затем следует волшебная скачка и полет над *водой,* а все видения философа в церкви у гроба Панночки — «с пьяных глаз».



В первую ночь, как итти в церковь читать над Панночкой, философ подкрепил себя доброю кружкой горелки. И наслышался страшных рассказов — рассказы по своему действию сильнее и крепче горелки. Только безразличное пусто — бесследно, но «страшное», как проклятое, так и обрадованное, хмельно и заразительно.

А рассказы — у трезвого уши вянут, но это ничего не значит:

чем невероятнее, тем едче с пыром не в мясо и кости, а в муть — в кровь.

Спирид, лицо гладкое, чрезвычайно похожее на лопату, рассказывает о псаре Миките, на котором псаре ездила Панночка, как на заправском коне, и который псарь сгорел сам собой, как Петрусь (Вечер накануне Ивана Купала): куча золы и пустое ведро — вот и все, что осталось от Микиты и Петруся.

Козак Дорош рассказывает со слов козака Шептуна, который Шептун любит иногда украсть и соврать без всякой нужды.

Шепчиха видела собаку: в собаку обернулась никто другой, как Панночка, и на глазах Шепчихи снова стала из собаки Панночкой, но с лицом не Панночки «сверкающей красоты», а была она вся синяя, а глаза горели как уголь.

Панночка, схватив дитя, прокусила ему горло и начала пить кровь. А потом и на Шепчиху, забившуюся на чердак, полезла кусать.

Со слов того же Шептуна Дорош рассказал случаи не совсем обыкновенные о Панночке-ведьме.

Кому-то ведьма, обернувшись в скирду сена, подъехала к самым дверям хаты, а у кого-то украла шапку и трубку: у девок на селе ночью срезала косу, а у других выпила из каждой по несколько ведер крови.

Ведро крови, не «лужицу» по Достоевскому, да тут и не хотя захлебнешься!



Во вторую ночь философу дали для подкрепления кварту горелки и он съел довольно большого поросенка и «какая-то темная мысль, как гвоздь, сидела в его голове», а жгла, как заноза, и не достанешь руками вытащить и освободиться.



А перед третьей и последней ночью, за прошлую ночь поседевший философ потребовал кварту горелки и попытался убежать — дурак, от судьбы разве бегают! и с поймавшим его козаком Дорошем выпил не много не полведра сивухи.

За ужином себе для ободрения, последняя попытка иссудьбиться! — он хвастал, он говорил, что такое козак и что он, козак, не должен бояться ничего на свете.

Так я говорю себе в мою третью ночь, я с ободранной кожей, вышеиваясь из-под стягивающей меня петли: «все принять».

«Пора, сказал Явтух, пойдем».

Какой знакомый мне голос непреклонный: «пора».

«Спичка тебе в язык, проклятый кнур!» подумал философ и, встав, сказал: «Пойдем».

Дорогой философ беспрестанно поглядывал по сторонам — озирался и заговаривал с провожатыми, но Явтух молчал, да и Дорош не отзывался. Волки выли вдали целою стаей, и самый лай собачий был страшен.

«Кажется, как будто что-то другое воет: это не волк!» сказал Дорош.

Явтух молчал. А философу нечего было сказать. Это звучали «клочки и обрывки» не нашего из другого мира.

СВЕРКАЮЩАЯ КРАСОТА

В первую ночь она поднялась из гроба и шла по церкви, беспрестанно расправляя руки она ловила меня, слепая. Мертвые живого не видят.

Во вторую ночь, когда лицо ее — «резкая сверкающая красота» — вдруг посинело, как человек уже несколько дней умерший, снова она поднялась из гроба — труп; и этот труп вперил позеленевшие глаза.

Она не видит, она своей ведовской силой чует меня, но за магический заклятый окрещенный круг ей заказано: только глаз Вия, ужаснув меня, выманит меня из круга и тогда совершится: я попаду под власть ее мстящих сил: преступный полет отмщается: Панночка недотрога, ее сестра Астарта.

Вий! — не чорт с рогами и хвостом и копытом, никакой копытчик и оплешник, никакой и «демон» ни оперный, ни монастырский.

Вий — сама вьющаяся завязь, смоляной исток и испод, живое черное сердце жизни, корень, неистовая прущая сила — вверх которой едва ли носится Дух Божий, слепая, потому что беспощадная, обрекая на гибель из ею же зачатого на земле

равно и среди самого косного и самого совершенного не пощадит никого.

Вий — а Достоевский скажет Тарантул.

Весь охваченный жгучим вийным веем я вдруг увидел себя, забившимся за иконостас алтаря, невидимым для подземных чудовищ с отвратительными липкими залупленными хвостами. Я различаю из-за своей засады в трепещущей от свечей, облитой светом трутовой ветхой церкви в третью и последнюю ночь философа Хомы Брута.

Я видел, высоко со стены из перепутанных волос паутины два светящиеся глаза с поднятыми вверх бровями и над бровями, дрожа, спускались клещи и жала из стеклом переливающейся налитой пузырем паучиной голова-груди.

Я видел синюю искаженную, стучащую зубами и взвизгивающую, а еще вчера страшную сверкающую красоту — простирая руки, задыхаясь слепая, она ловила руками.

Я видел, как философ, бормоча вертел головой, стараясь не смотреть на нее, — он избранный ею, бестия из бестий, песенный кентавр, посмевший наперекор ее воли смертельно прикоснуться к ней, избранной и вещей, и в свою первую мертвую ночь открывшей ему его вину, когда посмотрела на него закрытыми глазами и из-под ресницы ее правого глаза покатилась слеза и он ясно различил на ее щеке, но это была не слеза, а капля крови. Обезумев от страха, философ подгрудным голосом, как во сне и в исступлении, не различая букв, перепутав строчки и забыв все псалмы, не кричал уж, а давясь, дико выл, вывывая: «Ой, у поли могыла...»

Я видел Гоголя: какая грозная тишина в его виновных глазах; как много пережглось в его сердце и вся душа была растерзана.

Я видел, как в затихшую и вдруг присмиревшую церковь, под отдаленный вой волков, нет, как будто глухо выл кто-то здесь, ввели косолапого дюжего человека: он был, как корень, весь в земле, прилипшей к нему комками, отваливавшимися густо запекшейся кровью, тяжело ступал он, длинные веки опущены до самой земли, а лицо железное. Его привели под руки и прямо поставили к тому месту, где стоял Гоголь...

СЕРДЕЧНАЯ ПУСТЫНЯ

СУДЬБА ГОГОЛЯ

Чары Гоголевского слова необычайны, с непростым знанием пришел он в мир.

Еще при жизни образовался «оркестр Гоголя»: имитаторы, кописты и ученики. Образовался Гоголевский трафарет и по окостенелой указке писались повести и рассказы — имена авторов не уцелели. Гоголь дал пример разговорного жаргона: почтмейстерское «этакой» (Повесть о капитане Копейкине). Этот жаргон — подделка под рассказчика не «своего слова» получил большое распространение не только у литературной шпаны, а и среди учеников. На мещанском жаргоне сорвался Достоевский (Честный вор), на мужицком Писемский в прославившей его «Плотничной артели» и в рассказах «Питерщик» и «Леший» с «теперича» и «энтим».

Трафарет всегда бесплоден, а жаргонист всегда фальшив. Природный лад живой речи неизменен, а народная речь непостоянна и словарь народных слов меняется в зависимости от слуха и памяти, память же выбирает вовсе не характерное, а доступное для подражания.

Из «оркестра» Гоголя вышли: Достоевский, Аксаков, Салтыков-Щедрин, Тургенев, Писемский, Мельников-Печерский. Ученики знали наизусть своего учителя. И самое значительное слово о учителе принадлежит «оркестру».

Путь Гоголя — дорога странника, очарованного и чарующего: очарованного пустотой призрачного вийного мира, огнем вещей и чарующего своим волшебным вийным словом; дорога окончится тем последним земным мигом, когда в чичиковской немой «сердечной пустыне» прозвучит расковывающее слово и за синим рассеивающим туманом звездного гоголевского неба откроется белый, самый жаркий пронзительный свет с «преступной» жалостью (из памяти «пекла») и райской незабываемой любовью (Старосветские помещики).

Гоголь покончил с собой в 1852 сорока трех лет, родился в 1809. Срок-то какой без разверстки: что глаза увидели, о том и

рассказ. А ни II-й, ни III-ей части «Мертвых душ», да и не могло быть: какое же Чистилище и какой Рай? — в чичиковской шкатулке места для них нет, Гоголю было не по глазам.

Через шесть лет после смерти, в 1858, появилась статья Писемского по поводу выхода II-ой части «Мертвых душ». Слова Писемского о судьбе Гоголя и вообще писателя, которого и нынче тычут читателем, советуя писателю полюбить этого благосклонного читателя, что будто бы эта любовь и будет началом взаимного понимания и интереса.

«Немногие, вероятно, из великих писателей так медленно делались любимцами массы публики как Гоголь. Надобно было несколько лет горячему с тонким чутьем критику (Белинскому), проходя слово за словом его произведения растолковать их художественный смысл, надо было несколько даровитых актеров, которые воспроизвели бы гоголевский смех во всем его неотразимом значении: надобно было, наконец, обществу воспитаться его последователями, прежде чем оно в состоянии было понимать значение произведений Гоголя, полюбить их и изучив, разнять на поговорки».

Но прежде чем устоялось общественное мнение, сколько обидного непонимания и невежественных укоров перенес он! «Скучно и непонятно» говорили одни. «Непристойно пошло — сально и тривиально!» говорили другие, и «общественно социально-безнравственно» решили третьи. Критики и рецензенты повторяли то же.

МИФ

Знание, как итог только фактов, не может дать исчерпывающего представления о живом человеке, в протокольном знании нет живой жизни. Только бездоказательное, как вера, источник легенд, оживит исторический документ, перенося его в реальность неосязаемого мира.

История человечества — история человеческого вдохновения, упований можно представить, как зарождение, борьбу и смену мифов: миф о божестве, миф о свободе, миф о любви.

Пушкин не был бы Пушкиным, если бы ограничились историческим матерьялом о жизни и трудах Пушкина. Только легенда о Пушкине, как явлении чрезвычайном и «пророческом», созданная Гоголем и подтвержденная Достоевским, сделала единственное имя — Пушкин.

Гоголь кругом одинок на своей страннической дороге. Те, кто считались его друзьями, были гораздо ниже и по дару и по глубине зрения, они видели какую-то часть, и никогда всего, а самого существенного так и не поняли.

Пушкин угадал Гоголя: «все это так необыкновенно в нашей литературе, что я доселе не образумился!» Так отозвался Пушкин о «Вечерах на хуторе близ Диканьки».

Пять лет знакомства с Пушкиным (с мая 1831 до мая 1836), путь судьбинных лет, и за этот «век» написано или задумано Гоголем все гоголевское от последних рассказов из «Вечеров» до «Мертвых душ», вся история собственной души Гоголя.

«Обо мне много толковали, разбирая кое-какие мои стороны, но главного существа моего не определили!»

Так начинает Гоголь свою легенду о Пушкине, произнося имя Пушкина с гордостью, любовью и восхищением.

«Ни одна строка не писалась без того, чтобы я не воображал его перед собой!» продолжает Гоголь и заканчивает известной легендой, им самим сочиненной, как читал он Пушкину начало «Мервых душ» и как лицо Пушкина, «охотника до смеха», будто бы становилось все сумрачнее и стало мрачным: «Боже, как грустна наша Россия!» воскликнул Пушкин голосом тоски.

Пушкинское ничем не оправданное восклицание — да прочитайте начало «Мертвых душ», откуда взяться тоске и грустной России? — это пушкинское восклицание вспоминается Гоголем не из жизни, а из своего сна о Пушкине, о воображаемом Пушкине, без которого нельзя было бы: представить себя жить среди людей — гогочущей и страждущей двуногой твари Божьей.

Биографические сведения не говорят ни о каких близких личных отношениях Пушкина, «охотника до смеха», к Гоголю, «заставляющему вас смеяться сквозь слезы грусти и умиления». (Определение Пушкина по поводу «шутливой трогательной идиллии Старосветских помещиков»). Из этого, что известно, скорее можно говорить о сдержанном и даже подозрительном отношении Пушкина к Гоголю. Не забывайте, что с такой любовью описан-

ный Чичиков вовсе не портрет знакомого, а только душу свою можно так полелеять. Пишется всегда о себе и все живое — «я», а словесные портреты только черточки.

Гоголь «посвященный» — «рожоный», как говорится о прирожденных ведьмаках и ведьмах, в противоположность получившим волшебное знание в жизни — «ученым», и Пушкин с тех же высот духа, и память их и встреча разве ограничены пятилетним веком тридцатых годов XIX-го столетия?

Слава о Гоголе, как о выдумщике — сочинить ему, действительно, ничего не стоило: одна будто бы написанная им История Средних веков чего стоит! Все это верно, но совсем не в том смысле, как это принято: выдумка — ложь. Источник выдумки, как и всякого мифотворчества, исходит не из житейской ограниченной памяти, а из большой памяти человеческого духа, а выявление этой памяти — сны или вообще небодрственные состояния, одержимость.

Все творчество Гоголя от Красной свитки до Мертвых душ можно представить, как ряд сновидений с пробуждениями во сне же по образу трехступенного сна Чарткова (Портрет) или повторенного за Гоголем тоже трехступенного сна Свидригайлова (Преступление и наказание). Гоголь в каждом своем сне воплощается в человека и венец его воплощений: Павел Иванович Чичиков — край человеческого его нечеловеческой природы. А дальше что? Чтобы на это ответить, надо Гоголю проснуться не тут, на земле, а там: умереть — уснуть.

ХВОСТИКИ

«Как изумились мы русской книге, которая заставила нас смеяться, мы несмеявшиеся со времени Фонвизина!»

Такими словами отозвался Пушкин о выходе вторым изданием «Вечеров» или, по определению самого Гоголя, его «Хвостиков».

Эти «хвостики» восемь рассказов: Сорочинская ярмарка, Вечер накануне Ивана Купала, Пропавшая грамота, Заколдован-

ное место, Ночь перед Рождеством, Майская ночь, Иван Федорыч Шпонька, Страшная месть. (I ч. 1831 г., II ч. 1832).

«На меня находили припадки тоски, мне самому необъяснимой. Чтобы развлекать себя, я придумывал себе все смешное, что только мог выдумать. Выдумывал целиком смешные положения, вовсе не заботясь о том, зачем это, и кому от этого выйдет какая польза».

Подготовляя новое издание своих сочинений, Гоголь долго не соглашался включить эти блестящие «хвостики»: «Зачем это и кому от этого выйдет какая польза?» И все таки согласился. Да иначе и не мог: произведения искусства меряются без «зачем» и «пользы», а своей жизненностью и нерушимостью впечатления.

В «Вечерах» не один только «смех», ошеломивший Пушкина, не один этот чарующий жгучий всплеск полной жизни, движимой подземной вийной силой. «Вечера» введение к задуманной «Божественной комедии» или, как скажет Достоевский, к «Дьяволову водевилю», к Мертвым душам с чарующим Адом благодушных и сентиментальных мошенников, с Чистилищем дельцов во главе с генерал-губернатором, а в заключение Рай, сад Старосветских помещиков — оптинские старцы и «люди Божие»: герой Ада Чичиков, пройдя Чистилище не без помощи своего человека, вы догадываетесь, не спроста попал во II-ую часть Мертвых душ Петр Петрович Петух, Павел Иваныч возносится на четвертое небо Василия Радаева и Татьяны Ремизовой, «людей Божьих» хлыстовского начала, современников Гоголя.

В «Вечерах» художественное испытание относительности и призрачности познаваемого мира, где «все мечта, все обман». В «Вечерах» история «моей души» — память из жизни вечного бессмертного Гоголя. Душа знает больше, чем сознание.

Необъяснимая тоска, о которой говорит Гоголь, и есть то состояние, всегда разрешающееся творчеством.

«И сказал Бог, — и слова Его изошли от полного сердца, мне слышится голос древней легенды о Господней слезе, взблеснувшей солнцем над миром, — и сказал Бог: создадим человека по образу Нашему, по подобию Нашему».

В каждом человеке, сознание не одного, а многих, живет не один образ и не одно подобие. Творчество, источник кото-

рого боль и тоска, «слеза Господня», есть воссоздание этих образов и подобий, неладных друг с другом, спорящих и враждующих. Воссоздние же в художественном произведении не описание кого-то, а непрямая форма исповеди: пишут только о себе с себя — «всякий не может судить, как по себе» (Достоевский). Гоголевские герои его «натуральных» рассказов: сам Гоголь, чернозем и упоительный день Малороссии.

Отбор литературного матерьяла совершается не наугад, что под руку попало. И что это значит, что на чем-то остановилось мое внимание? Да это встреча и память о прошлом. То же и с воспоминанием из прочитанного: ведь лезет в голову что-то одно, определенное, а все другое, казалось бы не менее интересное, стерлось. Выбор легенд в Вечерах не случаен: во всех легендах — гололевская память.

Самое недостоверное исповедь человека. Достоверно только «непрямое» высказывание, где не может быть ни умолчаний по стыдливости, ни рисовки «подымай выше». И самое достоверное в таком высказывании то, что неосознанно, что напархивает из ничего, без основания и беспричинно, а это то самое, что определяется словом «сочиняет».

В необъяснимой тоске над матерьялом — записи сказок, обрядов, описания одежды, колонка слов, весь этот «фольклор» присылает Гоголю в Петербург его мать и тетка, — держа в памяти напечатанные рассказы на чудесные темы современников, назову О. Ф. Сомова, Гоголь создает «Вечера».

Эти «Вечера» подлинно хвостики — не прямая исповедь и с тем достоверным неосознанным, из которого яснее ясного, что это за человек, балагуря исповедующийся.

Трепетная горячая минута, не отвлекайте, не будите человека. А тут кричат над ухом, да ту же картошку надо варить, хорошо если есть, хуже, когда нет ничего.

★

Выгнанный из пекла на землю за какое-то доброе дело Гоголь под серебряную песню начал свою волшебную дорогу Красной свиткой, потом Басаврюк, потом Запорожец и, наконец, Колдун Страшной мести.

«То была не злость, не страх и не лютая досада. Нет такого слова на свете, которым бы можно было назвать! Его жгло, пекло; ему хотелось бы весь свет вытоптать конем своим, взять всю землю от Киева до Галича с людьми, со всем, и затопить ее в Черном море. Но не от злобы хотелось ему это сделать, нет, сам он не знал отчего».

Таким топчущим весь свет Конем Гоголя был его смех.

КОНЕЦ

Не в символах легенды, а и на живой земле Гоголь странник — беспрерывная дорога.

«Изводящая жгучая боль — она мне бросилась на грудь и нервное раздражение, какого я в жизни никогда не знал, произвело во мне такое, что я не мог ни лежать, ни сидеть, ни стоять», — и единственное средство успокоиться: дорога.

А когда и дорога стала в тягость, а это был знак, что приходит срок, как-то надо кончить этот «скверный анекдот» — странствовать по земле калеке неперехожей.

На последнем пути по дороге в Оптину пустынь — Гоголь с одним ручным чемоданом, кроме рукописей он все роздал — встретилась девочка с блюдечком земляники.

«Как можно брать со странных людей», взглянув на Гоголя, сказала она на его вопрос «сколько»? и отдала ему землянику.

По вечерней дороге девочка с блюдечком земляники — так и слышишь где-то тут кузнечик стрекочет и пахнет сосной. Да ведь это Россия, русская земля, она подала ему землянику в последний прощальный путь с родной земли.



Засмеяв своим инфернальным смехом и сам не зная, для чего, и свою жалость и ту преступную из памяти «Красной свитки», перешедшую в жалость Левко к утопленнице-панночке, и жалость к «мизерному» человеку, задушенному жабой — страстью к шинели, Акакию Акакиевичу, выжегши смехом и свою любовь единственную, выдержавшую пятилетний «век», любовь

Старосветских помещиков, зачаровавший вийной силой своего слова мертвую душу мира — ведь «мертвые» души только потом в гоголевском сне обернулись в пушкинское «Боже, как грустна наша Россия»: с сердцем угольночерным, черствым, пустынным, Гоголь, на последней дороге в канун своего отчаянного подвига-жертвы — Гоголь, хочется думать, закрыл свои распаленные глаза счастливый, найдя расколдовывающее слово, развеявшее перед ним те самые чары мира, за которыми пустыня, «мертвые души», и в пустоте вой и свист вийных сил! — в этот страшный канун пропада, потерянности, стыда, ожесточения и отчаяния, не мог он своей чичиковской меркой не спросить себя: «зачем и для кого выйдет какая польза от моей исповеди» — от «хвостиков», в которых все мое видение не в будущее, а в мое прошедшее.

Но ведь в этом прошлом и страда и жалость, то несгораемое ни на каком огне, что прорывается и светит белым самым жарким и самым пронзительным светом. Вижу и сквозь заклятые волшебные чары и сквозь трагедию Петра и Пидорки, Катерины и ее отца-колдуна, сквозь жалость Майской ночи с ее необъятным миром, когда и на душе необъятно, и боль — сквозь боль песни, боль, выбивающуюся в звуке, и боль в синем серебряном тумане.

А эта боль неразрывна со всей сущностью «всего» и мир начался в боли и очищение мира через крестную боль и родится человек в мир из боли и то, что называется «счастьем» — мое горькое счастье! — неуловимое, но вспоминаемое до боли.

Нет, Гоголь не мог отвергнуть Вечеров — историю «моей души» до этой жизни — до 19 марта 1809 г., рожденья Гоголя.

Отказавшись от своего несметного богатства слова, Гоголь сам погасил огонь вещей. Подвиг самосожжения ничтожен перед голодной казнью.

ГОРИЧАРЫ

Творчество Гоголя представляю себе, как ряд беспробудных сновидений с пробуждением во сне. Всякое творчество воспроизводит память; память раскрывается во сне.

В сновидениях Вечеров (1831-32) — Гоголь рассказывает о своем прошлом — о состоянии своего духа до дня своего рождения — до 19-го марта 1809.

«Майская ночь» завершает сновидения, начало их в «Сорочинской ярмарке»: открывается вина Красной свитки — в личине чорта Левко «вывороченный чорт» пожалел ясную панночку русалку, сотникову дочь, ее тоже выгнала из дому мачеха-ведьма, вот за эту жалость чорта и погнали из пекла.

Явление Гоголя на земле не однажды. Еог душа Ганна. Какими трепетными словами она вспоминает о своем возвращении на родную сторону.

«Знаешь ли что я думаю?? Мне все что-то будто на ухо шепчет, что вперед нам не видеться так часто. Недобрые у нас люди, все глядят так завистливо. Признаюсь, мне у чужих веселее было».

Память Гоголя извечной глубины; по памяти и зрение: среди русалок он различает с черным пятном — ведовской знак, «Тело было сваяно из прозрачных облаков, светилось насквозь при серебряном месяце и у одной внутри виделось что-то черное», а в серебре месяца какое-то странное упоительное сияние.

«Тяжелое чувство полное жалости и грусти» возникает у «вывороченного чорта» под чарами блистательной украинской ночи — мир необъятен и на душе необъятно, все торжественно и чудно — знакомая пятигорская ночь, когда под звездами кремнистый путь блестит и отчего-то «что же мне так больно и так трудно?»

По чарам, открытым зрению Гоголя, эту майскую ночь, осыпанную лунным серебром, к которому примешивается какое-то странное упоительное сияние, можно сравнить с ночью из сна философа Хомы Брута: его скок под ведьмой и полет на ведьме.

И эта ночь волшебнее прозрачной «Тиха украинская ночь» и по трепету близка «Выхожу один я на дорогу».

Замечено В. В. Розановым: «смехач», «вывороченный чорт» Гоголь и «демон» Лермонтов.

С памятью зрение, а с глазом слух.

«Я знаю: я слышу, что он здесь».

Гоголь видел звуки. И это зрение звуков его выручало.

Одаренный необычайным даром слова, Гоголь барахтался в мешанине украинского и московского. Какой выпал ему труд выражаться. Но его работа над словом по слуху сделала его единственным в русской литературе.

Словесно бездарный Толстой, растрепанный и неповоротливый — русский во французской упряжке (синтаксис) — работая над словом неизвестно как и почему, но с одной мыслью ясности, при своем гениальном гоголевском зрении изобразил жизнь в глубину и даль, касаясь незримого простому глазу задального (закат в «Чем люди живы»).

Но только Гоголь делал словесные вещи.

Учиться писать по Толстому пустое дело. Это все равно, как учиться говорить по Столпнеру. Другое Гоголь: по Гоголю можно проследить его словесную постройку.

Гоголь верил в заколдованные места на земле. «Есть где-то в какой-то далекой земле такое дерево, шумит вершиною в самом небе и Бог сходит по нем на землю».

Таким заколдованным благодатным местом «Майской ночи» была для Гоголя Святая земля. И когда на Святой земле в Иерусалиме благодать не осенит его и слово, которым бы расколдовать зачарованный Вием мир и крепко закрепленный гоголевским словом, не откроется, Гоголь проснется в живом чичиковском мире. И скажет себе словом Толстого и лесковского Панвы, что Свята земля не на земле, а в человеческом сердце и чтобы достичь Святой земли и получить благодать в*и*денья и слова, надо очистить мутное сердце, а чистота сердца дается жертвой.

Из высших миров сновидений Гоголь проснулся.

«Приснись тебе все, что есть лучшего на свете, но и то не будет лучше нашего пробуждения».

Пробудившись, Гоголь принес последнюю жертву и гася «огонь вещей» уморил себя голодом. Это случилось 21 февраля 1852 г. в Москве. Жестокий, но единственный исход для «вывороченного чорта».

АНДРОНЫ ЕДУТ

«Андроны едут... чепуха — белиберда — сапоги в смятку, это просто чорт побери!»

Таков мир Гоголя — эта сумятица, слепой туман, бестолковщина, тина мелочей. И вот изволь «объяснять» по природе необъяснимую запутанную и перепутанную чепуху.

Мысли идут по зацепкам наперекор и мимо логической целеобразности: сцепление образов и суждений неожиданно.

«Все это честолюбие оттого, что под языком находится маленький пузырек и в нем червячок с булавочную головку. И это все делает какой-то цирульник с Гороховой».

«Точно какой-то демон искроша весь мир на куски, без смысла и без толку слепил. Барахтайтесь на свою волю!»

Все совершается без «потому» и уж никак непредвиденно.

«Поди ты спроси иной раз человека, из-за чего он что-нибудь делает?»

Но как быть без объяснений? На все ищется всегда «почему». Поверхностное может быть объяснено, но глубже трудно понять. Всякое «потому что» упирается в воздушную пустоту и последнее «почему» или случайно произошло, как пересечение лучей, или самопроизвольное «вдруг».

Все живое вышло из туманности и обречено жить в сумерках: постоянные столкновения, спор без взаимного понимания.

Единственная проглядь: боль.

★

Откуда возникает движение в этой Андроновой чепухе?

«Царапни горшком мышь, сама как-нибудь задень кочергу — и Боже упаси — и душа в пятки».

«Бабы — такой глупый народ, что высунь ей под вечер изза двери язык, то и душа уйдет в пятки».

Страх перед «нечистой силой», и этой силой прожилин бескостный Андронов мир.

«Какие чудеса бывают на свете и до каких мудростей доводит человека нечистая сила».

Мир — это только мое чувство и образ его по мне.

«Свитка, положенная в головах, кажется свернувшимся дьяволом».

Пляшет на небе месяц — а видит его волостной писарь, выходя на четвереньках из шинка, мордой шаря землю.

«Все обман, все мечта, все не то, чем кажется».

Власть человеческих глаз: «сглаз». Отвести кому глаза глазом: «обморачивание». А самое страшное: глядеть закрытыми глазами.

Или мой глаз или вмешательство нечистой силы. Сам по себе человек ничего не может и один у всех жребий: страх.

Нечистой силе путь не заказан: Вакула влюбляется до чортиков, а волостной писарь напился до чортиков.

У М

От Пушкина, не без Квитки-Основьяненко, Ревизор; от Пушкина «Мертвые души». Пушкин — легендарный друг и авторитет.

Гоголь сам по себе кипь и хлыв слов, без сюжета и без матерьяла.

Пушкин, вдохновив Гоголя, отравил его своим умом. Отрава сказалась после смерти Пушкина.

Душа Гоголя: плутня и волшебство.

«Боже мой, я писал как попало, а надо с толком. Я понял, что такое ум. Во всем сомневаться, только не в себе».

Пишется не для чего. Самое казалось бы намеренное приходит помимо воли. Пишется «как попало». Так написались «Вечера» и «Миргород». Оказывается, есть Пушкин: «ум». И Гоголь взялся за ум. И начинаются нисколько не смешные и без слез: «смех сквозь слезы».

Пушкину Гоголевское показалось смешным, для нас загадка: что смешного в «Вечерах» и «Миргороде»? Как остается загадкой: чем взяла современников мрачно-зубоскальная «Шинель»?

Гоголь и сам поверил и в смех и в слезы — ведь этак и приличней и значительней!

Придет срок и Гоголь осудит этот «ум». В «уме» — гордость, а надо смириться. И он задумал уйти под кров церкви. И еще 2-я часть «Мертвых Душ».

Но и в церкви, и в земных праведниках (праведники «живого дела», Костанжогло) — насадить сад на земле, разочаруется.

«Мало вижу добра в добре».

А последняя запись:

«Если не сделаетесь, как дети, не войдете в царство Божее».

А что такое стать как дети? А надо свое сердце — черствое и его непроницаемое черное пятно сделать прозрачным.

А это дается подвигом — жертвой. А какую жертву мог принести Гоголь? Да сжечь свой «ум» и голодом себя заморить.



Гоголь не мог любить Божью тварь: человек создан по образу и подобию зверей, а черти по образу и подобию человека. Что же остается? Да только расплеваться с этим Божьим миром, с зверообразным человеком и человекообразными чертями.

Гоголь не посмел это сказать в Божью правду, а написать написал и подписался.



Человек брошен на землю — «на свою волю»: живи и распоряжайся, смертный на земле переменяющейся, но тоже не вечной.

На глазах страстная повязка — призрачный мир со звездами, поцелуями, с мошенническими запятыми.

Страсти — двигатели и проводники жизни. Мертвые души значит живые страстные души, обреченные на уничтожение — смерть. Мертвой души в живой жизни не может быть.

Страсти прикрываются умом и умными словами.

Гоголь не любил, когда при чтении «Мертвых душ» смеялись: мертвые безответны.

Образ Мадонны — перед Чичиковым на балу — проблеск в другой бесстрастный мир, где нечем сгорать, а только светить и светиться, и нет бескорыстной чистой подлости корыстолюбивого человека перед властью. Такой широтой души может похвастать только человек — звери замкнуто корыстны. Зато и ум человека не в меру зверю.

ГОГОЛЬ И ТОЛСТОЙ

Чудесное не кажется странным, невероятное кажется вероятным, но непривычное — просто неправдашним.

(Рубка леса)

Толстой следует Гоголю: под его глазом все вылезает на свет Божий в смешном виде.

У обоих изощренность зрения: мир явлений — пестрота Майи, непроницаемая простому глазу, для них сквозная.

Знаки судьбы у Гоголя: трясущиеся сухие руки и паутина (Страшная месть), оплетающий плетень (Вий), крысы (Ревизор). У Толстого те же знаки судьбы в черном и страшном предрассвете (Воскресение), в закрытой движущейся коляске князя Андрея (Война и Мир).

★

Растолковать таинства, как это сделал Гоголь, и разложить таинства, как это сделал Толстой, одно и то же.

Наша живая реальность стена, отгораживает тот другой мир с загадочным откуда появляется живая душа и куда уходит, оттрудив свой срок.

Хорошо или дурно живется на белом свете, через все и у всех неизменно жалоба. Без жалобы нельзя себе представить жизни. Чего-то, стало быть, всегда нехватает. И только через взаимную жалость можно себя почувствовать не заброшенным. А устроиться в жизни может только мошенник. Так будет по Гоголю: от Красной свитки до Чичикова.

И еще гоголевское: человек во власти страстей и дела человеческие такая постройка, поднеси спичку, и все вспыхнет соломой и ничего не останется — и только прах и пепел.

★

Никто так ярко не изобразил призрачность и колдовство, как Гоголь и Толстой.

В басаврючьих рассказах тайна «обморачивания», и в морок окликающий голос: «а что вы тут делаете, добрые люди?»

У Толстого Елена Безухова, мать Нехлюдова, за ее портрет заплачено пять тысяч рублей знаменитому художнику, и эта морока превращается в мумию, наполняет мучительно тяжелым запахом, который ничем нельзя было заглушить, не только всю комнату, а и весь дом, и который слышен был и через три месяца, и перед которым «тлетворный дух» Достоевского просто, как ничем не пахнет.

В призрачном мире Гоголя не вётла превращаются в мертвецов, а мертвецы в ветлы.

Толстой при всем своем зрении, гадая, не увидел ничего в зеркале и заставил Соню сочинить вещий образ умирающего князя Андрея.

Толстой со своим вопросом «почему и зачем?» не спросил себя, как могла Соня сочинить именно то, что для открытого зрения Гоголя было-бы не сочинением, а действительность, которая обнаружилась из прорыва призрачной реальности. А не спросил себя Толстой потому, что зрение его безошибочно сказалось в сочинении Сони, другого Соня не могла и выдумать.

Этот прорыв у Толстого в снах и в метели, в снежной.

«С крыши соседнего сарая мело снег и на углу у бани крутило».

Этот прорыв чувствуется и в «развешенном треплющемся под ветром белье»: «у крайнего двора на веревке отчаянно трепалось от ветра развешенное замерзшее белье: рубахи, одна красная, другая белая, портки, онучи и юбка». И в мотавшейся от ветра полыни и соломе — все тот же прорыв.

Прорыв — и лицо судьбы.

«В первый день Пасхи после свидания с Масловой, Нехлюдов вышел на крыльцо. И остановился, стараясь сообразить значение всего того, что произошло. На дворе было светлее: внизу на реке треск и звон и сопение льдин еще усилились и к прежним звукам прибавилось журчанье. Туман же стал садиться вниз; и из-за стены тумана всплыл ущербленный месяц, мрачно освещая что-то черное и страшное. «Что же это, большое счастье или большое несчастье случилось со мной?» спрашивал он».

ТРОЙКА

«Здесь не мертвые души,
здесь скрывается что-то другое».

Гоголь

Гоголь богатый: не одна, а две тройки — Ноздрев-Чичиков-Манилов и Коробочка-Плюшкин-Собакевич.

Кто дальше своего носа ничего не видит, ему — дурак с подсахаренным разглагольством «маниловщиной» Манилов, шулер Ноздрев и врет, а Чичиков обермошенник. И такое подносное не искажает живой образ «произведения природы»: Россия — хохлы переряженные в кацапов — Манилов, Чичиков, Ноздрев.

Но глаза Гоголя уводят меня в даль и мне видится: чистая мысль —Манилов, совершенство — Ноздрев, полнота жизни — Чичиков.

Все мы Чичиковы — цветы земли («чичек» по-турецки «цветок») — кому же из нас не охота жить по-человечески, не беспокоиться о мелочах, быть уверенным будет чем заплатить за газ, за электричество, за квартиру; хорошая книга — куплю, у меня все есть и гости голодом не уйдут, а выпрутся за дверь всыть, кликну вдогонку: «на лестнице не пойте!»

Каждый по своему понимает полноту и довольство жизни, я говорю о себе — но ведь этой мой и ваш задор — Чичиков.

Чичиков — мошенник.

Если найдется другой способ добыть себе довольство жизни, слава Богу, но думаю я — прошло сто лет со смерти Гоголя и разве что изменилось? — что-то непохоже, чтобы только «по чести» люди выходили в люди. На вопрос «зачем я жил и чего достиг в жизни?» до конца не договаривают: какой же я мошенник?

По легенде о «Красной свитке» — чорт выгнан из пекла на землю за какое-то доброе дело — этим беспризорным чортом, басаврюком, можно представить себе Чичикова.

Представить себе все можно, запрета нет, но разве это чертячье что-нибудь откроет о природе человека и о уставе человеческой жизни?

На театре чорт у места, но на суде о человеческих судьбах пора прекратить забавляться «чортом».

Все поступки Чичикова наше человеческое и жизнь его сложилась по-человечески, его вдохновенная мысль о воскрешении мертвых родилась в душном подполье и пусть фрак на нем брусника с искрой — отблеск адского пламени, Чичиков человек — средний нормальный человек.

Да Гоголю и в голову не приходило делать из Чичикова басаврюка, как и под слово «мертвые души» подставлять какой-то другой смысл, кроме как юридический термин.

Чичиков нам ближе, чем редкий цветок: Манилов и Ноздрев. Маниловым и Ноздревым надо родиться, а Чичиковым родятся.

Чичиков труженик на трудной земле — прогнанный Богом из рая Адам — надо как-то устраиваться — жить не скотиной среди скота, а человеком.

Но Манилов — с природной чистотою мысли и чистым сердцем — Чичиков выкрутится — Манилов кончит плохо: такие по своей доверчивости непременно впутаются в грязную историю, и ошельмуют: «дурак, туда же!»

Тоже и Ноздрев — незавидный конец: его необузданный задор совершенства — гиперболы — непременно свернут себе шею или проймут сквозь и через — жизнь не сюперфлю, не гипербо-

ла, а вес и мера, да и свою бездарность плутовством не переменить, и себя чем же уверишь, коли «плохой сочинитель»?

И все вместе: совершенство (Ноздрев), полнота жизни (Чичиков) и чистая мысль (Манилов) — тройка-вихорь, не обогнать ни птице, ни аэроплану — тройка-взблеск и осияние грунтовых потемков жизни.



Ноздрев-Чичиков-Манилов сквозь лес и горы жизни под облака парят — воздушная тройка. Строят жизнь не они, а хозяева — другая гоголевская тройка: Коробочка-Плюшкин-Собакевич.

Настасья Петровна птичьей породы, Михаил Семенович медведь, Степан паук. Паутина, берлога, гнездо.

Однажды паук приладил к маятнику паутину и часы остановились. И вещи — вещи растут по часам — стали разрушаться.

И не потому, что умерла говорливая жена и убежала дочь с штабс-ротмистром, для хозяина семья вещи, а семья за вещами. Наступил конечный срок росту вещам, почему? А стало быть час наступил и началось распадение в пыль. Вещи сгорели. Хозяин на пожарище. Собирает обгорелое, и с тем же самым задором, как пауком бегал по своей паутине, строя. Тут в расточительности распада слово скупой не подходит.

Так кончается всякое хозяйство: пожар возникает из самой природы вещей, поджигателей не было, и не будет.

Собакевич называет соседа мошенник, морит голодом людей — производительную живую силу. И как же иначе? Вещи сгорели и в чаду их живая сила, ну и пусть пропадает с обгорелым хозяином.

Плюшкин — венец человеческого хозяйства. Ни его дом с пробитыми глазами, ни комната в горелом, а подъезд, где бревна — мостовая подымается клавишами, и сад — джунгли: ни человека, ни вещей.

Коробочка-Плюшкин-Собакевич — эта хозяйственная Гоголевская тройка соблазнительна по своей паучиной прыти, но и грозная: она мчится в пропасть.

Н О З Д Р Е В

смертный исторический

> «А как было дело на самом деле, Бог его ведает, пусть читатель-охотник досочинит сам».
>
> Гоголь

I

МОРДАШ

Я не средней руки щенок, не золотая печатка, я мордаш — крепость черных мясов, щиток-игла. Я не куплен, не выменен, я выигранный, я краденый.

Хозяин ни за самого себя не отдавал, но чернявый давно на меня острил зуб и я очутился в его задорных руках — «хоть три царства давай и за десять тысяч не отдам!»

Моя первая память: меня вынул из блошиной коляски обывательских крепостной дурак Порфирий и положил на пол; растянувшись на все четыре, я нюхал землю, а когда чернявый — мой крестный — взял меня за спину: «Вот щенок!» и приподнял над землей, я услышал свой голос — жалобно вою.

«Посмотри-ка, какие уши, потрогай рукой! — Нет, возьми нарочно, потрогай уши! — А нос, чувствуешь, какой холодный, возьми-ка рукой!»

Так мне и осталось на всю жизнь: всякую дрянь пощупать рукой, да еще и понюхай. Зато и окрестили меня Н о з д р е в.



Это был среднего роста, недурно сложенный, с полными румяными щеками, белые, как сахар, зубы и черный, как смоль, густые взъерошенные волосы, свеж — кровь с молоком, здоровье так и прыскало с лица его.

Его растительность просто наводила изумление: случалось: на победной голове его с одного боку торчит, а другая сторона приглажена ввыдер — рука одного из счастливых мошенников,

мстя, прошлась! — а через день глядишь, обе половины сровнялись, и не узнать, за которую вчера таскали. Да у него на груди растет какая-то борода.

С набитой сапогом мордой — на люди показаться неприлично — огня не зажжет: луна.

И с каким завоем под гитару, мая одинокий вечер, выводится чувствительный припев:

Поцелуй меня, душа,
Смерть люблю тебя!

Из собашника тем же маетным воем отзовется любимая пара брудастых.

А уж захохочет — он хохотал тем звонким смехом, каким заливается свежий здоровый человек, у которого все до последнего выказываются зубы, дрожат и прыгают щеки. И сосед за двумя дверями в третьей комнате вскидывается со сна, вытаращив глаза: «Эк, его разобрало!» Он хохотал во все горло, заливался, как Черкай, прославленный за бочковатость ребер и комкость лап, вот треснет или вот лопнет от смеха.

Мадам Ноздрева томная блондинка с лебедиными ногами, упорная с разу и уступчивая до отказа себе — в брата Мижуева; Мижуев — белокурый корректор, справщик «пуль» черномазого мужа сестры. По своей комкой природе разбитной и вертлявый, Ноздрев поразил ее статуйность: она была по уши влюблена в драгунского поручика Кувшинникова, а вышла замуж за Ноздрева. Она не успела принять участия в споре губернских дам: «продолжительна ли женская любовь или нет?» — в первый же год она родила двойню и отправилась на тот свет.

За детьми присматривала смазливая нянька — нянька была точно смазливая, вот когда сами лезут навязшие в зубах: кровь, сахар и молоко. Она называла барина: «мой пушистенький барин» и ртом так делала, точно ела что-то вкусное и с пенкой. А и вправду он был шерстявый: кроме грудной еще от пояса спускалась передним хвостом борода.

Если бы не эта смазливая нянька, он и не заметил бы свое потомство — растут два щенка.

Прямодушный он мог бы сказать про себя по искренней совести:

«На потомство у меня нет нюха!»

На ярмарке, когда ему подвезет фортуна, напасть на мошенника-простака, счастье так и колотит, на то и ученые карты, обыграл, денег полны карманы, он не скавалдырник, он пойдет по лавкам — накупит всего, на что только упадет глаз, а глаз не дурак.

За хомутами — это совесть: в его конюшне пустые стойла, платок няньке и сейчас же глаз ведет на жеребца, жеребец, изюм, серебряный рукомойник...

Он знал имена всех своих густо-псовых и чисто-псовых, муругих, черных с подпалинами, полово-пегих, муруго-пегих, красно-пегих, черноухих, сероухих, — а как няньку? Он не сказал с ней слова и единственное, по глубине и значению, как «люблю», западет ей в память: переурчав, он скажет: «кончай».

Стреляй, Обругай, Порхай, Пожар, Скосырь, Черкай, Допекай, Припекай, Северга, Касатка, Награда, Попечительница, все они при виде хозяина, пустив вверх хвост («правило») летели к нему навстречу и, положа лапы на его плечи, подпрыгивали лизнуть в губы. Он стоял с добродушным оскалом, как отец среди семейства.

Его надо только приласкать и он пойдет за вами, хоть на край света.

Мир его цветной: цвет приборного сукна драгунского мундира — желтый, зеленый, голубой, малиновый, белый и оранжевый.

В ушах шарманка с бойкой скачущей дудкой высвистывает, когда давно перестали вертеть: «Мальбрук в поход поехал».

II

СУБТИЛЬНЫЙ СЮПЕРФЛЮ

По своей цыганской природе, Ноздрев обуян неугомонным бесом, зорький и бойкий, что выражается в страсти в мене — игра в перетасовку вещей — ружье, собака, лошадь, и пари и бьюсь об заклад. А по своей природе любопытного смертного

одержим демоном совершенства с замысловатым именем субтильный сюперфлю, высшая степень совершенства.

«Я держу на привязи волчонка. Вот волчонок. Я его нарочно кормлю сырым мясом. Мне хочется, чтобы он был совершенным зверем».

Так и во всем он хочет, чтобы было совершенным, «во всей форме».

Он один из всех понял, какая в Божьем мире мелочь — дрянь и жизнь смертного убога — дрянь и сам смертный, как и его душа, ничего не стоит, пустяки — дрянь.

«У меня были голубые и розовые лошади! А вся эта серая дрянь, подлецы и мошенники — «честные люди» — поднимают меня на-смех: чепуха! вру без всякой нужды, я заврался — Ноздрев «пули льет». Да ведь это вам врется в вашей плутне и мошенничестве».

III

ПУЛИ ЛЬЕТ

Ноздревские пули льются в «эмпиреях» и на другой день по напору страсти к совершенству.

— Ярмарка была отличнейшая. Сами купцы говорят, что никогда не бывало такого съезда. У меня все, что ни привезли из деревни, продано по самой выгоднейшей цене.

— Веришь ли, что офицеры, сколько их ни было, сорок человек одних офицеров было в городе, как начали мы пить...

— Шампанское у нас было такое, что перед ним губернаторское? — просто квас. Вообрази, не Клико, а какое-то клико-матрадура, это значит двойное клико. И еще французское под названием «бо-бон», запах — розетка, и все, что хочешь. После нас приехал какой-то князь, послал в лавку за шампанским — нет ни одной бутылки во всем городе: все офицеры выпили. Веришь ли, я один в продолжении обеда выпил семнадцать бутылок шампанского. — «Ну, семнадцать бутылок ты не выпьешь». — Как честный человек говорю, вы-

пил. — «Ты можешь себе говорить, что хочешь, а я тебе говорю, и десяти не выпьешь». — Ну, хочешь об заклад, выпью.

— А сколько было карет, и все это en gros. В театре одна актриса, так, каналья, пела, как к а н а р е й к а. Кувшинников, который сидел в о з л е м е н я, «вот, говорит, попользоваться бы насчет клубнички». Одних б а л а г а н о в, я думаю, было п я т ь д е с я т. Фенарди (балаганный танцор) ч е т ы р е ч а с а вертелся мельницею. (Влет-в-развертку).

Гнедой жеребенок, на вид неказистый, Ноздрев божился, что заплатил десять тысяч. — «Десяти тысяч ты за него не дал, он и одной не стоит». — Ей Богу, дал десять тысяч. — «Ты себе можешь божиться сколько хочешь». — Ну, хочешь, побьемся об заклад?

В пруду водились рыбы такой величины, два человека с трутом вытаскивали какого-нибудь леща. — «Может, осетра?» — Нет, самый обыкновенный карп.

— Слепая крымская сука, ее годы кончаются, а два года тому назад, эта сука — мороз по коже подирает, брудастая с усами, шерсть стоит вверх, как щетина, бочковатость ребер, уму непостижимая, лапа вся в комке, земли не заденет. Сука, точно, была слепая.

— А вот на этом поле, Ноздрев показал пальцем на поле, русаков такая гибель, земли не видно, я сам своими руками поймал одного за задние ноги. — «Ну, русака ты не поймаешь рукой». А вот же поймал, нарочно поймал.

— Вот граница. Все, что ни видишь по эту сторону, все мое. И даже по ту сторону, весь этот лес, вон синеет. И все, что за лесом, все мое. — «Да когда же этот лес сделался твоим. Разве ты его недавно купил?» — Да, я его купил недавно. — «Когда же ты его успел купить?» — Как же, я его еще третьего дня купил, дорого, чорт возьми, дал. — «Да ведь ты был на ярмарке». — Эх ты, Софрон, разве нельзя быть в одно время на ярмарке и купить землю? Ну, я был на ярмарке, а приказчик мой тут без меня и купил. — «Ну, разве приказчик».

— Вот бричка, ее только перекрасить и будет чудо-бричка.

— Два п о д е р ж а н н ы х ружья: одно в триста, другое в восемьсот рублей. Турецкие кинжалы, на одном, п о о ш и б к е было вырезано: «мастер Савелий Сибиряков».

— Шарманка — чудная шармнака — «Мальбрук в поход поехал» — да не такая, с какими шарманщики таскаются по улицам и вымогают деньги, это оргАн посмотри нарочно, вся из красного дерева.

— Кисет — исторический: вышит какой-то графиней где-то на почтовой станции: «влюбилась в меня по-уши». (Ноздрев не помнит, кто бы когда в него влюбился). «Ручка у графини была такой субтильной сюперфлю», что означает высочайшее совершенство.

IV

В ЭМПИРЕЯХ

В еде неприхотлив, было бы только горячо. Да и повар Ноздрева руководствовался не столько матерьялом, сколько воображением: что под руку попало, то и вали в кастрюлю, все равно, всегда вкус какой-нибудь выйдет.

Но в винах Ноздрев знает толк: и сам может и гостей сумеет уважить. «Вино проводник в «Эмпиреи»: лежу под горой, глазами в гору, кругом по сторонам воздушная даль, я чувствую ее свежесть и нет краев, а руке все близко».

Пьется не рюмками, а стаканами: портвейн, го-сотерн, жгучая мадера — «лучше которой не пивал сам фельдмаршал»: мадера, заправленная ромом или водкой; французское вино — и бургоньон и шампаньен; рябиновка — вкус сливянки, а отдает сивухой, и заключительный бальзам с переменным названием. И голубые и розовые кони уносят в Эмпиреи.

Тут и происходят всякие истории, ни одно собрание, где он будет, не обходилось без истории, почему и зовется Ноздрев смертный исторический.

V

ДРЯНЬ

Я не двуличный, у меня нет двойных мыслей, я прямодушный, я открыто подхожу к каждому смертному и говорю искренно, что на уме. Я с нескольких слов перехожу на ты: я по-

верил! — я хочу совершенства не только в вещах, а и в человеке.

По Гоголю смертный — существо любопытное и доверчивое. А я говорю: дрянь. И душа его — вздор, пустяки, дешовка, чорт-знает-что; дрянь.

Первый подлец Собакевич: грубый, не держит карт, и вина в его доме не найдешь. Первый плут и мошенник лавочник Понамарев: в его лавке ничего нельзя брать, в вино подмешивает всякую дрянь, сандал и пробку, и бузиной, подлец, заправит, такой же и откупщик и эта анисовая старуха: подавая мне рюмку анисовки, она низко поклонилась, как поклонится у Достоевского в «Подростке» мать; она запросила за водку втридорога и, получив всего пятиалтынный, не осталась в убытке, еще раз поклонилась, да еще побежала отворять мне дверь. И я кричу всей этой дряни: «Врешь, врешь, пари держу, голову ставлю, врешь!»

Единственное исключение драгуны: штабс-ротмистр Поцелуев и поручик Кувшинников. Все наши губернские, от прокурора до капитан-исправника, скряги, так и трясутся над каждой копейкой, а эти во всей форме кутилы, они и в гальбик, и в банчишку, и во все, что хочешь. Поцелуев бордо называет просто бурдашкой: «принеси-ка, братец, говорит, бурдашки!» А какой, если б вы знали, волокита Кувшинников. Мы с ним были почти на всех балах. Одна была такая разряженная, рюши на ней и трюши и чорт знает чего не было. Я думаю себе только: «чорт возьми!» А Кувшинников, т. е. это такая бестия, подсел к ней и на французском языке подпускает ей такие комплименты... Поверите ли, простых баб не пропустил. Это он называет: «попользоваться насчет клубнички». Мы все бывали вместе. И тут попался нам помещик Максимов, дрянь, но сначала, как водится среди приятелей, оподельдог-иваныч, свинтус, свинопас, скотина и не помню, за какую его ростепель — и было б ему на глаза не показываться, — я его выпорол: Кувшинников и Поцелуев держали, а я порол.

А вот мне снится, меня самого разложили и, как последнюю дрянь, высекли. И вообразите кто? — Кувшинников и Поцелуев.

Но ведь чем мерзее сон и неожиданнее сонное происшествие, тем он значительнее, этот сон врезался мне в память, и я задумался.

Или счастье, или фальшь, или искусство.

Какое мне счастье! Проклятая семерка, да и девятка проклятая подстерегают мою удачу и падают вдруг, разбивая все мои надежды. И играть, как принято среди честных мошенников, играть безгрешно — во что я умею? Ни в гальбик, ни в банчишку, ни во что хотите. Да и сочинитель я плохой. И выходит, что я такая же дрянь, да, пожалуй, еще дряннее — они не понимают, а я все о себе понял. Но я хочу совершенства в вещах, совершенства в смертных, я хочу быть совершенным en gros сюперфлю.

В фортунку мне повезло: крутнул и выиграл: две банки помады, фарфоровая чашка и гитара («Поцелуй меня, душа, смерть люблю тебя»), еще поставил и промотал еще своих шесть целковых. Попробовал счастье — метали банк. Верите ли, никогда в жизни так не продувался. Ведь я на обывательских приехал. Посмотрите нарочно в окно, видите, какая дрянь. Если б вы знали, как я продулся! Не только убухал четырех рысаков, на мне нет ни цепочки, ни часов. И нечего оправдываться, дрянь. И никогда не соглашусь на эту дрянь. Я человек, слышите! Я буду зубами защищать свою мечту сюперфлю!

VI

ХЕР-СОНСКИЙ ПОМЕЩИК

«Хер-сонский помещик» только звуковое совпадение с Херсоном. На географической карте Хер-сон еще не обозначен: большие пространства населены мертвыми душами. Мертвых наторговал Чичиков, и они живут, как смертные, по вдохновению Чичикова: дан же человеку на что-нибудь ум!

С Чичиковым Ноздрева свела судьба. «Он приехал Бог знает откуда, я тоже здесь живу». С первого взгляда Ноздрев почуял, что это мошенник — на первом дереве следует повесить.

Согласие Чичикова ехать к Ноздреву закреплено было поцелуем. В поцелуе ясно прозвучало и Ноздрев прочитал: «заеду-ка я в самом деле к Ноздреву, чем же он хуже других? такой же человек да еще и проигрался. Горазд он, как видно, на все. Стало быть, у него можно даром кое-что выпросить». Но-

здрев поставил его на одну доску с Поцелуевым и Кувшинниковым, — и как ошибся: да ведь это мелкий мошенник, никакой разницы от прокурора и всех губернских.

Мелочь Чичикова обнаружилась, когда Ноздрев начал свою: за сколько и каких вещей он отдаст мертвые души. «Чичиков выражался истинами: «всему есть границы», «зачем приобретать вещь решительно ненужную»; «не следует подвергаться неизвестности». Ноздрев предложил в банк: на карты всех мертвых и шарманку. — «Не охотник». «Отчего же не охотник?» — «Потому что не охотник».

Такой ответ кого не выведет из терпения и Ноздрев выразил ему все свое негодование.

— Дрянь же ты! Фетюк просто! Я думал было прежде, ты хоть сколько-нибудь порядочный человек, а никакого не понимаешь обращения. С тобой никак нельзя говорить, как с человеком близким. Никакого прямодушия, ни искренности. Совершенный Собакевич, такой подлец.

Ноздрев пугнул сеном — без овса обойдутся его лошади. (Санкция!). Ужинали молча. «Не хочу и доброй ночи желать тебе!» сказал Ноздрев. Блошиная жгучая ночь: Ноздрева выпороли. На утро шашки. « предлагаю на-чисто: выиграешь, твои все, без мены, без денег: души идут в ста рублях». Чичиков на половине игры спутал шашки и отказался продолжать. Да, Ноздрев плохой сочинитель, рукавом работать, только детям в стать. «Это по ошибке!» сказал Ноздрев, вспомнив свои турецкие кинжалы тульского изделья. «Я не плутовал, а ты отказаться не можешь, ты должен кончить партию. Я тебя заставлю играть!» — «Нет, брат, дело кончено, я с тобой не стану играть». «Так ты не хочешь играть? Нет, скажи напрямик, ты не хочешь играть?» И белые, «как сахар», зубы сверкнули из кровью налитого рта. На-голо халат распахнулся. Но Чичиков успел схватить его за руки и держал крепко. — «Порфирий! Павлушка!» И это был не крик, это был визг взбесившегося мордаша. Чичиков выпустил руки. «Бейте его!» Ноздрев схватил черешневый чубук. «Дрянь, горько подумалось, говорит мне в лицо, что я дрянь, а я и есть дрянь. — Бейте его!»

Проклятая Гоголевская тройка! «Неожиданно звякнули вдруг, как с облаков задребезжавшие звуки колокольчика, раздался ясно звук колес подлетевшей к крыльцу телеги, и отозва-

лись даже в самой комнате тяжелый храп и тяжкая одышка разгоряченных коней остановившейся тройки».

Чичиков, как гад, выскользнул на крыльцо. Но все равно никакой капитан-исправник не помешает, Ноздрев добьет. И это случилось на балу у губернатора, на глазах всех губернских подлецов и мошенников.

И это вовсе не «по страстишке нагадить ближнему», как объясняет сам Гоголь, — Ноздрев, завидя Чичикова, кричал в восторге: «Хер-сонский помещик! Торгует мертвые души! Херсонский помещик! И это вовсе не со слюнявой пьяни, это голос из Эмпирей: «Если бы вы сказали — вот я тут стою и вы бы сказали: Ноздрев, скажи по совести, кто тебе дороже, отец родной или Чичиков: Скажу: «Чичиков! Ей Богу!» и полез целоваться — поцелуем закрепить восторг перед необыкновенным — три миллиона мертвых душ! — воскрешение мертвых «сюперфлю во человецех».

Ноздрев был так оттолкнут, что чуть не полетел на землю, но и Чичиков не удержался, резко перевернулся и, пробив головой паркет, ухнул в сырой крысиный подвал — туда, на суд смертной дряни: 240 пиявок к виску!

ВОСКРЕШЕНИЕ МЕРТВЫХ — ЧИЧИКОВ

Детство, отрочество и юность

В «Мертвых душах» Гоголь продолжает легенду «Красной свитки»: чорт за какое-то доброе дело был выгнан из пекла на землю.

Это доброе дело, как выяснится в «Майской ночи», жалость: Левко в личине чорта — «вывороченный» чорт пожалел панночку-русалку. Человеком в красной свитке околачивался этот преступный чорт в Сорочинцах, потом на старой Опошнянской дороге в виде Басаврюка, чаруя и наводя на грех, потом в красных огненных шароварах гулякой — Запорожцем и насолив деду куда-то сгинул.

Гоголь рассказывает из своей райской памяти о мысли-смерти (Старосветские помещики) и о своем прошлом: о невольном преступлении (Вий) и о своей «преступной любви» (Страшная месть).

И вот он снова появляется, но не в захолустье, а в губернском городе, ближайшем от столиц, можно думать, на родине Хомы Брута.

Я узнаю его по отблеску «красной свитки»: на нем брусничный с искрой фрак, на шее радужная вязаная косынка, в глазах телескоп, из носу труба, под фраком сабля, в кармане серебряная с финифтью табакерка, на руках перчатки, — чувствительные щупы, под мышкой Duchesse de La Vallière «Réflexions sur la miséricorde de Dieu» в русском переводе «Размышления о Божиим милосердии герцогини Лавальер», по-французски он знает только звук «tiens!» — в Лавальер засунуто послание в стихах Вертера к Шарлотте. На ногах сафьяновые сапоги — Торжок: резная выкладка всяких цветов.

В шинели из больших медведей, крытых коричневым сукном, на голове теплый картуз с ушами, он выступает, как «князь мира сего»: поп снял перед ним шляпу. Из смертных только одной Коробочке была открыта его демоническая природа: накануне его приезда ей приснился чорт — рога длиннее бычачьих, в чем она и убедилась, заглянув по утру в гостиную, где на смятых пуховиках в ярком солнце нежился он во всей своей натуре.

Павел Иванович Чичек.

Имя собирательное, фамилия малороссийская. «Чичек» по турецки «цветок», писарь в Нежине описался и из «Чичека» вышел «Чичик», а Гоголь для московского полнозвучья прибавил «ов». Так и получился: Павел Иванович Чичиков. Посмотрим, что-то будет.

Явление паночки-русалки, как напоминание о преступлении, встретится дважды: в первый раз, когда в смертельной опасности выскользнет он из-под кулаков Порфирия и Павлушки, и на дороге от Ноздрева к Собакевичу, его бричка столкнется с коляской и он при виде золотистой незнакомки в восторге одуреет до потери слов, и во второй раз, когда в славе миллионщика под сенью бескорыстной подлости, на балу у губерна-

тора, в благоухании дамских роз, фиалок и резеды, он узнает в губернаторской дочке свою золотистую незнакомку и забыв все на свете, растерянный, будет с усилием припоминать о том, что он забыл?

Что осталось в нем от Басаврюка? Соблазн? Но он не погубил ни Петруся, ни Ивася, не обидел Пидорку. Чары? Да, он умеет всякого расположить к себе, но это не заразительная демонская веселость духа, а выработанный тяжелыми годами общительный прием.

Три исторические недели пройдут в губернском городе, ближайшем от столиц, среди «разбойников и мошенников», на трезвый каленого цвета взгляд Собакевича, «среди подлецов и дряни», на совершенную меру Ноздрева: губернатор, с потупленным благодушием вышивает кошельки, а дай ему в руки нож и выпустите на большую дорогу, он себя покажет: зарежет за копейку; а вице-губернатор, что губернатор, эти Гог и Магог; полицмейстер Алексей Иванович — простодушный мошенник, предаст, обманет да еще пообедает с вами, «начитанный» — в вист без вылеза до поздних петухов; и «чудотворец»; председатель Палаты Иван Григорьевич читал наизусть «Людмилу» Жуковского и особенно удавалось: «Бор заснул, долина спит, чу!» и зажмурит глаза для большего сходства, а такой дурак, другого такого свет не производил, и за картами нижнею губой закрывает себе верхнюю помолчать, на пикового короля надеялся как на Бога; почтмейстер Иван Андреевич, автор повести о Капитане Копейкине, масон, настольная книга «Ночи» Юнга Штиллинга и «Ключ к таинствам натуры» Эккарсхаудена, вдался в Ланкастерскую филантропию, цветистый в словах и «уснащениях» словечками, насмешливый, бритва, а питается экстренной экспедицией, знает когда в неурочный час закрыть контору — мошенник; весь город — мошенник на мошеннике и мошенником погоняет, один порядочный человек — прокурор Моргун, да и тот свинья, очень черные густые брови, а левым подмигивает: «пойдем, брат, в другую комнату, там я тебе что-то скажу». А вокруг и сквозь канцелярские — мухи (Любимое у Достоевского пауки и вошь, а у Гоголя мухи, сам величественный райский Днепр глотает мух!), народ семейный и добродушный: Антипатр Захарьевич, Илья Ильич, читатели «Сына

Отечества» и «Московских Ведомостей», а кое-кто Карамзина, поклонники Коцебу игры Поплёвина и Зяблиной, удачливые, кое-как и фризовая горемыка. Из города дорога — чушь и дичь. И на земле — Бобов, Свиньин, Канапатов, Трепакин, Плешаков, декабрист Манилов с мечтой о «Человек», душа всяких революций, «майский день, именины сердца, щи, но от чистого сердца», и заплатанный (предмет Гоголь стесняется назвать) Плюшкин и под ними дюжие крепостные рабы — Михеев, Милушкин, Степан Пробка, Еремей Сорокоплёхин, Максим Телятников, Петр Савельев Неуважай Корыто, Иван Колесо, Коровий Кирпич, Григорий Доезжай-не-доедешь, Фетинья, Акулька, Палагея, Агашка, Хивря. Почерневшая дорога, — зеленые поля, босой, залепленный свежей грязью в нагольном тулупе, от которого несет тухлой рыбой, острожная бродяга пророк, некрасовский Влас, каркающий пришествие Антихриста, и мчащаяся неизвестно куда Русь — вихревая смильная песня и бахвальство. И сама гоголевская поэма, которая крепко держится на гвоздях русской пословицы, а слова департаментского канцелярского просторечья и малороссийских оборотов впихиваются прямо в рот, и серебряные трубы киевской словесной выспри... но что ему до русской литературы, которая вышла из этой поэмы, до мечущейся Руси, и что соответствует или не соответствует гражданским постановлениям и дальнейшим видам России, у него один задор: очеловечиться — занять место в первом ряду среди мошенников, и довольная жизнь — цель всех его проделок — сотрет память о пекле — родине его, куда пути ему нет.



Я червь мира сего. Средней руки. Все в меру: и рост и размер — ни толстый, ни тоненький; и голос — говорю не тихо, не громко. И возрастом — не молодой, но и не старый. Правда, сморкаюсь и чихаю громко, что среди простых принимается за положительность, говорят: солидный — а это ведь что тоже, средний. И чин у меня ни низкий, ни высокий — коллежский советник. Круглый подбородок, круглый живот. И трезвый: не пью и не курю.

Когда-то говорили про меня: «заманчивая наружность», а теперь я сам скажу: «мордашка».

Глаз зорок — сквозь и через. Обоняние тонко — различу огуречный рассол под яблоком, и в падали прослойку. Всякая падаль меня оскорбляет, тоже и в словах и грубость и непристойное и сам я, даже в мыслях: моя опрятность сквозная и только дважды прошибся на Ноздреве. Осязание — «чортов сын!»

Гоголь называет меня подлецом.

Назвать себя неудачник... но что же это, что я и в который раз ткнулся носом в помойку?

Гоголь говорит, что в каждом из нас есть часть Чичикова. Стало быть такова природа человека, все подлецы, или, как скажет коридорный, мошенники. Впрочем (любимое у Гоголя: «впрочем», «между тем» и «чорт-знает-что»), по Ноздреву первый подлец Собакевич, потому что не держит карт и вина, а по Собакевичу первый разбойник и лицо разбойничье губернатор, потому что его повар провизию покупает на рынке: купит кота, обдерет шкуру и подаст к столу, вместо зайца.

Мне нечего гоняться за правдой, как за мясистой белугой: правда одна — без мошенничества ничего не достигнешь. И нечего таращиться, и что вы на меня так взъелись? Да, мошенничество — путь жизни, а евангелие — костюм или нажравшись баранины, пойдешь на собрание общества покровительства животным.

Я не фокусник и не изобретатель. Я не жандармский полковник, единственный который из всех почтенных и почтеннейших разбойников попал в самую точку, определив меня «ученый», этот полковник на балу у губернатора за ужином, когда все засахарились, поднес даме, приятной во всех отношениях, на своей обнаженной шпаге тарелку с соусом. Я и не англичанин Времонт, который Времонт после войны — все войны истребительные — изобрел искусственные деревянные ноги с особым механизмом: если нажать едва заметную кнопку, и эти ноги уносили человека Бог знает в какие места, так что после и отыскать его негде было.

Есть вещи, друг Горацио... скажу по-русски: «в натуре находится много вещей неизъяснимых даже для обширного ума». «Чего уж невозможно сделать, того никак невозможно сделать».

Не правда ли? А я разрушу эту истину: мертвые — мечта — осязательно войдут в круг моей жизни, моей, полной жизни, не какой-нибудь мухи, которую легко задушить пальцем, а человека.

ПОДПОЛЬЕ

Жизнь его начинается с мыши, мышь толкнула его мысль. Матери он не помнит, ни разу не видел ее. Отца, да. Жили они на хуторе в срубе. Три окна. Никогда не раскрывают: паутиной разрисованы, а зимой забиты снегом. И кто это из крайнего окна, какая печаль засматривает сюда?

— Не лги!

Отец, вздыхая, поворачивается от окна и продолжает свой шлёпанский путь — вязаные хлопанцы на босу ногу.

«Не лги», выводит Павлушка, черня бумагу и пальцы.

Шлёп подхлестывается кашлем, прошлёпывал от дверей к углу, там стоит песочная плевательница — приманка мыши.

«Послушествуй старшим, — выводил Павлушка затверженную пропись, — и носи добродетель в сердце».

От плевательницы отец возвращается к двери, а от двери хлопанцы вылязгивают к мутному живому окну. И вздыхая стоял упершись выпытывающим глазом в неутешную и горькую печаль.

— Не лги!

— «Не лги, снова начинает Павлушка пропись, послушествуй старшим и неси добродетель в сердце».

Но разве можно сделать руку послушной?

Живая рука непременно смажет букву и выудит из кляксы закорючку. Скрипучее перо, затихая, пускается вплавь. Хлопанцы лязче. И отец очнулся.

— Опять дурака валяешь!

И краюшек уха Павлушки скрючивался больно ногтями длинных пальцев.

Это непослушная рука, обреченная на ровную отчетливую пропись, наперекор скрюченному хрящику ушей, обернется в деятельную мысль, что только игрой в послушание — «я немею перед законом!» — а не послушанием Закону, можно достигнуть в жизни пространств: сам себе закон.

Отчего умерла мать? В родах или зачахла под длинными пальцами упреков? Слово «мать» в срубе не произносилось, а только «Пресвятая» сквозь вздох отца.

Смутно помнит крестную, но не как «тетка Настасья Петровна, сестра матери», а по прозвищу «Пигалица».

Эта «Пигалица» коротконожка, взглянув на новорожденного, была глубоко разочарована: Павлушка вышел совсем не по ее, как она думала: не в бабку со стороны их матери — «Да он не в мать, не в отца, а в прохожего молодца».

И про это она повторяла всякий раз в срубе. В самом деле. Павлушка кубыш, ничего с отцом: отец сухой, длинный, носатый. Пигалица брезгливо смотрела на крестника: «выблядок».

За повторный отзыв о сыне, что была сущая правда, Пигалицу отец турнул:

— Если ты еще раз покажешься мне на глаза, я тебя в бараний рог согну и узлом завяжу! — заступился он за самого себя с той самой злобой, с какой свертывал сыну уши.

Пигалица обиделась и больше не показывалась.

В комнату просовывался горбун карлик, запрокинутая голова его шарила глазами потолок. Этот горбун был родоначальник единственной крепостной семьи Чичиковых, отец Селифана и дядя Петрушки. И когда отец согнувшись в бараний рог, отшлепывал за горбунком, носом стуча по горбу, из угла к тому углу, где плевательница, пробегала мышь на водопой.

«Не лги. Послушествуй старшим и носи добродетель в сердце».

Останется на всю жизнь, как особая примета: левое ухо с защипкой.

«Вот прокурор! жил-жил, а потом умер!»

И в бесконечной похоронной процессии за каретами, за пустыми дрожками гуськом, а наконец уже ничего не осталось.

И когда бричка Чичикова, выехав из ворот гостиницы, пошла покачиваться и подпрыгивать, дома, стены, забор и улицы, подскакивая, уходили...

И когда за пустынными улицами потянулись длинные деревянные заборы, мостовая кончилась — рябой шлагбаум — город позади, и ничего нет — поля неоглядные, дорога.

И Павлушкина пропись дописана, безголовому труду конец.

Прокурор лежал на столе, не подмаргивал, но бровь была приподнята: «зачем я умер или зачем я жил?» И мутное окно, через которое улетела душа матери, безутешно печалилось: «зачем?»

★

С первым весенним солнцем и разлившимися потоками, повез отец Павлушку в Нежин в ученье: мухортая Сорока, горбун за кучера. И не сабля, не горячий калач — спутники Чичиковой брички, а холодный пирог и жареная баранина с ними в тележке.

Когда покидая город после трех недель погони за мертвыми душами, Чичиков встретит мертвую душу — прокурора, который по скромности своей никогда ее не показывал, эта встреча с покойником добрый знак. А теперь, когда после десятилетнего хуторского подолья, тележка въехала в город, неженские улицы блеснули неожиданным великолепием и Павлушка обалдев разинул рот, Сорока, Сорока повернула в узкий, весь стремившийся вниз запруженный грязью переулок и бултыхнула вместе с тележкой в яму — это больше чем знак, это прообраз житейского моря — переломанной доли Чичикова.

МЫШЬ

Дом на косогоре. В доме между двумя в цвету яблонями, начнутся годы ученья под глазом дряблой родственницы, ходит по утру всякий день на рынок и за вечерним чаем сушила свои промокшие чулки у самовара.

Это страшилище тетка потрепала Павлушку по щеке — первая ласка, памятная на всю жизнь.

Позади дома сад: рябина и бузина. В саду деревянная будка, крыта дранью, круглое матовое окошко; в этой будке станет Павлушка мудровать над мышью, приручая непокорного зверка ходить в чужой воле.

Отец оставил полтину меди на расход и лакомства. Эта первая полтина основа капитала Чичикова, расходов не будет, а лакомства — кислые яблоки и горькая рябина.

И раскрыта была загадка прописи: «не лги».

— Угождай учителям и начальникам, — все пойдет в ход, всех опередишь, сказал отец, — не водись с товарищами, и только с богатыми. И копи копейку, что означало: «носи добродетель в сердце».

Мораль пишут не от душевного избытка и мудрости, а от своего порока: развратник, как известно, проповедует воздержание, скупой расточительность, злобный — мир и милосердие.

Отец за всю свою жизнь не скопил ни одной копейки, водился со всяким без разбору и никому не угождал, — после его смерти достанется его сыну в наследство: четыре безвозвратно заношенные фуфайки, два сюртука подбитые мерлушками и дворишко с семейством горбуна, что вызовет досадливое и покроется вечной памятью: «скотина».

Открыв сыну истинный смысл прописи, отец вернулся к себе на хутор продолжать заниматься психо-анализом: на пустой лавке, вместо Павлушки, сядет мышь вздрагивая ушами на шлёп хлопанцев.

А Павлушка на своей воле пошел по отцовской прописи, угождая учителям и копя копейку.

В нем обнаружились необыкновенные таланты: смётка, терпение и оборотливость.

Есть две приманки на человека: хлеб и забава — старые истины, но всякий раз открываются наблюдательностью и соображением.

В классе Павлушка подсаживался к богатым и за уроком проголодавшемуся высовывал из-под парты кончик пряника или горбушку хлеба, а раздразнив, продавал втридорога. Из воска вылепил похожее на птицу, красным выкрасил горло и получился снегирь. На этого игрушечного снегиря охотников оказалось немало и цена поднялась куда за живого: выгодно продал. Медная полтина пошла расти в рубли.

Очередь за мышью.

Он заманил ее не в мышеловку, а в клетку. Движения мыши были ему понятны, как хлопанцы отца. И начинается работа —

все дело в уменье «расположить» — очаровать. Два месяца настойчивости и терпения: мышь становится на задние лапки или лежит, замерев, дожидаясь приказа ожить и подняться.

И мышь, на которую один кот лапа, послушная всех покорила. Пять рублей зашил Павлушка в мешочек — мышкины деньги.

Удавшийся опыт над приручением неприручаемого (это все равно, что меня перевести на французский!) оказался больше всяких рублей. Дрессированная мышь была началом и станет убеждением, что и любого человека и самого упористого Собакевича, можно взять, как мышь и сделать послушным своей воле. А воля Чичикова в его задоре — и в ком же из нас нет этого задора! — полнота жизни: независимость богача и просторный размах властелина.

Чичиков возьмет Манилова «пошлинами» — польза государству; Коробочку — «казенными подрядами», Собакевича — неуклончивостью. Плюшкина — «для удовольствия вашего готов и на убыток».

ЛЮБИТЕЛЬ ТИШИНЫ

Нежинский анекдот о учителе, который любил тишину, рассказывают, в училище, где он преподавал, завел он такое всеобщее затишье, нельзя было сказать, был ли кто в классе за его уроком или стояли одни пустые лавки.

У такого учителя учился Чичиков.

«Главное — похвальное поведение. говорил учитель, а способности — вздор». В живом выражении лица ему чудилась насмешка: смеялись над ним. И тем, кто поумней, плохо приходилось. «Я тебя знаю насквозь, как ты сам себя не знаешь. И хоть бы ты Соломона заткнул за пояс, я из тебя выгоню заносчивость и непокорство».

Эту тихую мышь Павлушка взял шелком. Не два месяца, а пять лет, корча идиотскую рожу, не дыша, он только смотрел на учителя. И по окончании училища, получил в награду книгу — золотыми буквами надпись: «за примерное прилежание и благонадежное поведение»; и полное удостоверение во всех науках.

Учитель вскоре за что-то вылетит из училища, и попал в мышеловку всяких бед и унижений, что нисколько не тронет Чичикова. И ободранная затихшая мышь скажет, припоминая прилежного ученика: «обманул меня Павлуша!»



Сосед Чичиковых Кифа Мокиевич, устремлен в умозрение о тайнах природы, философ, ходя по комнате, он спрашивал:

«Вот, например, зверь: зверь родится нагишом, почему же именно нагишом? Почему не так, как птица? Почему не вылупливается из яйца? Ну, а если бы слон родился в яйце, какой толщины была бы скорлупа? Да никакой пушкой не прошибешь, нужно выдумать какое-то огнестрельное оружие пробить ее».

И вообразив себя слоном, залез в яйцо — пробовал и ногами топать и хоботом думал провертеть хоть маленькую щелку и выйти. Обломал себе все руки и задохнулся.

Его сын Мокей нашел отца забившимся под кровать, и уже холодный.

Отец Чичикова занимался психоанализом, как и откуда появился на свет Павлушка, он чувствовал, что Пигалица права, Павлушка не его сын, но кто же его отец и как это случилось? Из мутного окна смотрели на него глаза безответно.

И однажды потеряв последнее терпение, он поднялся в своих хлопанцах на лавку к самому окну — и растворил никогда не открывавшееся окно, вылез из окна и пропал.

Горбун нашел его на лавке — окно раскрыто, дул весенний ветер — он лежал вытянувшись во весь свой рост, рот растаращен, как рвут зубы, и на лице сидела мышь, насторожа уши и моргая усом.

Когда приехал Чичиков, отца похоронили. Ветошь он отдал своему сверстнику Селифану. Продал хутор за тысячу рублей. И, забрав с собой семью горбуна, вернулся в Нежин.

МРАМОРНЫЙ ПОВЫТЧИК

Заманчивая наружность, опрятный и приветливый начинает Чичиков службу в Казенной Палате.

Чиновники Казенной Палаты — плохо выпеченный хлеб: одна щека полезла к уху, а подбородок скошен для равновесия, верхняя губа к ноздрям и на ней треснувший пузырь, а заговорит этакое гоголевское человекообразное, так равно б вот-вот дернет тебя по морде. И без исключения все язычники: приносили жертву виноградному богу Вакху. Воздух нельзя пожаловаться, что б не ароматический.

Начальник — мраморный истукан, каменная бесчувственность, особенная способность смотреть во все и ничего не заметить, корчись от боли, пляшет ли смех, ни привета, ни участия. Неизменный дома и на улице.

Отличный от всех, Чичиков охаживал эту мышь со всех концов, примеряя испытанные средства приручить, но и сама приманчивая кожа копченого сала оказалась не крепче обожженной спички. Как ни угождай, не замечает.

Пробовал взять мелочами: во время подлить чернила, вставить в ручку новое перо, незаметно стереть со стола пепел — Гоголь подробно описывает — ну, хоть бы поморщился.

Можно было в отчаяние притти и смешаться с дрянью, но упорство вылезти в люди заострило глаз и высобачило нюх: верная приманка нашлась — и мраморная мышь обречена.

У повытчика была единственная дочь: на ее лице, как на отцовском, всякую ночь приходил чорт горох молотить. Началось с церкви — как было не заметить жадные глаза, да на нее до тех пор никто никогда не взглянул, а все мимо, как ее мраморный отец на подчиненных.

Чичиков влез в дом к повытчику, стал бывать — сыграл на отцовском чувстве: и в самом упорном кремне найдется чувствительная жилка. Вскоре переехал в их дом, сделался нужным человеком. Поговаривали о свадьбе, говорили, что в феврале. Невеста связала жениху радужную косынку, вот откуда радуга на Чичикове. «Папаша» выхлопотал для будущего зятя как раз освободившееся место повытчика. Мышь поднялся на задние лапки. Больше стараться нечего. Чичиков забрал свой сундук и переехал от повытчика на новую квартиру — поближе к должности. И со свадьбой дело замялось.

— Обманул чортов сын! — вспомнил со злобой мраморный повытчик.

АЛМАЗ

Чичиков повытчик — судебный делопроизводитель — заметный человек. Приятность в обращении и бойкость в делах — драгоценный человек — алмаз!

Повытчик — хлебное местечко и высокие связи: подстрекательные письма князя Хованского, без них ни одно дело не решается.

«Князь Хованский!» — магическое слово Гоголевского времени и никакие революции не обезвредят этот громкий титул, разве на Страшном Суде, да, и то, говоря по совести, какая порука!

С открытием «Строительной комиссии», куда деятельным и незаменимым сотрудником вошел Чичиков, окончились годы его самоотверженного воздержания.

Казенное здание — фундамент. И вот уже шесть лет выше фундамента стройка не подвигается: то ли не подходящая почва, а вернее климатические условия — погода. И в то же самое время на другом конце города поднялись «солидные» дома «гражданской архитектуры».

У Чичикова свой дом, свои лошади — пристяжная вилась колесом, любо посмотреть. Всегда опрятный, еще и прииалег на чистоту: особенное мыло для глянца кожи и губкой с одеколоном всякое воскресенье с головы до ног. Тоже и в наряде щеголь и привереда, тонкое голландское белье, меняет каждые два дня, а летом всякий день; сукно для фрака коричневых и красноватых цветов с искрой — да такого во всей губернии ни на ком.

Жизнь шла широко. Повар. Званые обеды. Гости.

Ноздрев в своем восхищении Чичиковым отзовется: «сатирический ум, занят учеными предметами».

На досуге Чичиков задумал сочинение, что-то вроде «воровского самоучителя». Книга называлась «Русские изобретения и изобретатели» (изобретатели, конечно, псевдонимы).

Он собрал весь опыт повытчика. Подробно излагались приемы, как в прижиме изворачиваться, соблюдая «бескорыстие и благородство». Тонкость проделок иллюстрировала правила. Книга посвящалась князю Хованскому.

Чичиков стал уже задумываться о «опрятной» семейной жизни: ему мерещилась жена и дети — все как у людей. И вдруг «чорт знает что» (любимое гоголевское выражение для неожиданного и кавардака), взлетел и носом.

Есть порода: увалень — его можно окорсетить; затем тюфяк — на него только пинком, и наконец, байбак — а этого ничем не сдвинешь.

Начальником «Строительной комиссии» был тюфяк. И все шло лодно, но пришел черед и тюфяка: растолкав, вытолкали. А на его место новый начальник — алмаз.

Этот алмаз из военных имел такую закоренелую привычку: он гонялся за неправдой, как за мясистой белугой. Вступив в должность, он безо всякой проволочки своего предшественника (Тюфяки всегда все откладывают) тут же распушил в пух Комиссию. И пошла переборка: чиновников от должности, а дома их в казну.

Чичиков вылетел вместе с другими. И скоро все устроятся, только не Чичиков.

Грозный генерал хвастался тонким уменьем распознавать способности, но, как военный, не знал Чичиково сочинение «Русские изобретения».

Секретарь не дурак, постиг управление генеральским носом. И в самом скором времени стал генерала водить за нос («без его ведома» прибавляет Гоголь) и все восстановилось, как было при Тюфяке, нашлись другие охотники и к концу года у каждого скопилась не одна «строительная» тысяча.

Но Чичиков не мог втереться.

Стало быть, есть такая сферическая алмазная мышь, хоть зубами за хвост тяни, не влезет в твою мышеловку.

Генерал и сам не мог сказать себе, что его оттолкнуло в Чичикове и гвоздем вошла отвратительная мысль, ничем не вытеребить: «не выношу эту угодливую морду!»

Самое большое, чего мог достигнуть Чичиков, уничтожили его послужной список, а о месте не могло быть речи.

Много есть неисповедимого в человеческой жизни, а самое загадочное «непочему».

Прощайте круглые приличные формы, привольная жизнь.

Куда-нибудь повыше все двери на замок или под носом

захлопнут. При всей своей душевной чистоте он снова очутился в грязной обстановке: непристойные слова, ругань, грубость оскорбляли его, как Манилова, и страдала его чувствительность: ведь когда Петрушка, отзывавший непроветренным жильем, на ночь разувал его, Чичиков запихивал себе в ноздри гвоздику.

Две три должности переменил он.

«Мать ты моя пресвятая, какой я стал гадкий!»

Или это алмазная мышь его самого загнала в мышеловку и у него опустились руки.

Русская пословица спасет его от уныния: «слезами горю не поможешь, берись за дело!» — и вывела его на дорогу.

Первое в таких случаях: надо переменить местожительство.

Чичиков переехал на границу в Волочиск и там поступил на таможню — давнишняя мечта: заграничные товары: — щегольские тонкие батисты, фарфор — искусство и бальзамическое мыло.

БРАБАНТСКИЕ БАРАНЫ

Чичиков у Коробочки смотрит по утру из гостиной, где провел ночь, — окно вровень с землею: он видит дворик со всякой живностью, свинья походя съела цыпленка, индейский петух сказал ему «здравствуйте» — все крупно и в крыльях, дальше за курятником огород: чучела, одна в чепце — узнает хозяйку, накрытые сетями яблони, и дальше избы, крытые свежим тесом, при избах сараи, в сараях запасные новые телеги.

Да ведь это не глаза, а телескоп!

Тоже и с руками — не человек, а чорт!

Чутье-собачье.

Чичиков обнаружил необыкновенные сыскные способности. Одно сказать: «ну-ну!» Он скоро набил руку и пошел в гору. Его самого занимала эта игра. У начальства он получил полное доверие за честность и бескорыстие. И скоро из простого таможенника поднялся до начальника.

Но кто это, где и когда только бескорыстием, только честностью добывал себе право широко развернуться? Можно занимать и самую высокую должность, да тут и захрястнуть. Чичиков это очень хорошо понимал.

Случай, который всегда все решает, наконец, подвернулся: испанские контрабандисты — испанские бараны, в брабантских кружевах на спине, переправлялись через границу. Чичикову было поручено открыть контрабандистов. Ему даны были неограниченные права и средства для поисков. Чичиков стакнулся с контрабандистами: бараний поход бойчее чести — 500.000 не валяются!

Всякий знает по своим проделкам: пока действуешь на свой страх, все сойдет, как затеял. Забыл Чичиков наказ отца добродетель: «не водись с товарищами». Или дело такое, одному голыми руками не схватишь, он взял себе помощника. И пропал.

Гоголь не говорит наверно, как оно произошло, а пропал.

Конечно, приятели выпили. Чичиков не пьющий, тем более. (Для Гоголя, как и Достоевского, всегда надо, чтобы поднять температуру). За дележом из-за чего-то поспорили. Там где-то нелегкий зверь перебежал дорогу или вот тут чорт сбил с толку. Слово за слово. «Попович!» сказал Чичиков. И оттого, что приятель был и вправду попович, обиделся. (Повторяется история с «гусаком» у Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича). «Нет, врешь, я статский советник, а не попович, а вот ты попович!» и прибавил в пику для большей досады: «вот, мол, что!» (Магия интонации: как что сказано, крепче чего — это истина).

Статский советник не прощаясь ушел. И написал донос.

Потом говорили, что ссора произошла из-за какой-то бабы. Старались чем ни попало нагадить один другому и уж было подговорено подкараулить вечерком и набить Чичикову морду. Правда, оба оказались в дураках: воспользовался клубничкой штабс-капитан Шишмарев, но тем-не-менее донос был написан.

Ноздрев в восторге перед совершенством Чичикова, уверял, что Чичиков фальшивомонетчик, что однажды у него сделали обыск и нашли на миллион фальшивых бумажек, немедленно опечатали двери и поставили часовых. А на утро нагрянули проверить фальшивую фабрику, смотрят: ни одной фальшивой, все настоящие.

— За ночь все заменил настоящими.

Гоголь: «чорт знает что!»

Но тут не Гоголи, а трезвые потомки Адама, мы, адамовичи с прихлопнутым воображением: Чичикова взашей, Статского советника в шею, и обоих — под суд.

Испанская мышь не то что из-под рук ушла, а и укусила.

ВОСКРЕШЕНИЕ МЕРТВЫХ

«Громада бедствий и буря испытаний» выражаясь не уличной галантерью, а киевской Берындой, обрушилась на Чичикова: его тайные сношения с испанскими контрабандистами всякому в глазах. Сорвавшаяся удача никогда не вызывает сочувствия, а только злорадство.

Брабантские деньги конфискованы, заграничное имущество описано — «движимые сердечной добротой» только и оставили ему шесть кусков мыла «для глянеца» щек.

Изворот ума, приятность оборотов, трогательность речи, — где покурил лестью, где сунул деньжонок, — обработал дело и увернулся от уголовного суда.

А дальше что?

«Кровные тысчонок десять про черный день», дюжина припрятанных голландских рубашек, да бричка, ездят холостяки и таможенники. Гнедой, Заседатель и Чубарый, кучер Селифан и лакей Петрушка, и это все. Вот смотрите: «Потерпевший на службе за правду!»

Почему же я?
Зачем на меня обрушилась беда?
Кто же зевает на должности?
Кому не охота приобретать?
Несчастным сделал ли я кого?
И чье огорчено сердце?
Несчастным я никого не пустил по миру.
Мать Пресвятая, за что?
Пользовался я от избытков,
брал там, где и всякий,
не воспользуйся, другой возьмет.
За что же другие благоденствуют,
а мое пропадай.
Я никого не трогал, я и мухи не обижу.

Я хочу, как и все люди, спокойной полной жизни. И какими глазами я теперь взгляну в глаза... —

Он представил себе «почтенного отца семейства», каких не бывает, потому что кто же устоит «когда Прасковья Федоровна несет ежегодно», но о которых только и напишут в некрологе «почтенный» — И как мне чувствовать угрызения совести... я даром бременю землю и что скажут потом обо мне мои дети? И вспомнив о своем отце, с горечью ответил: — «Вот, скажут, отец скотина, не оставил никакого состояния».

Эту «скотину» Розанов не мог простить Гоголю. Но и то подумать, отец ли это Чичикову, вымещавший на его ушах свои сомнения в верности жены и свою обиду?

Статский советник, нерасчетливый сотрудник Чичикова в брабантском дележе, скрылся со своими «кровными про черный день» и говорят, где-то в глуши и захряснул. А Чичиков устоял. И не герцогиня Лавальер спасла его от уныния, а упор жизни, любопытство жизни, несмотря ни на что, много природой было закручено в его существе сил и эти силы выпирали и выпрыгивали наперекор всяким тискам и щелчку.

Деятельность — задор Чичикова.

Поступить куда-нибудь на службу, нечего было и соваться. Оставалось «частным порядком» пролезать сквозь устроенных удачливых счастливцев.

Чичиков ходатай по делам — частный поверенный. Толчки от мелкой приказной твари и доверителей. Кажется, всего насмотрелся, но такого — впервые. Согнулся. А унижения и вынужденная выдержка: не крикнуть и не ударить, а стерпеть, зазмеили жалкую улыбку.

Вот где бы Достоевский показал всю свою изобразительную силу, рисуя боль человека, но Гоголь чужд упивам сентиментов. И этого не простит Достоевский своему учителю и не позабудет, как Селифан ударил кнутом мальчишку и пьяный предлагал посечься, и выместит в Опискине-Гоголе все свое негодование.

Семь лет исступленного мытарства.

За этот срок ходатая побывал Чичиков в Симбирске, Вятке, Пензе, Рязани — поколесил по России.

Россия — мошенник на мошеннике, разбойник на разбой-

нике, одно исключение, член Южного общества Манилов с лицом человека, что-то вроде дурачка, притом и с глупинкой; двухэтажные избы, с коньком шитых утиральников на воротах, из верхнего окна глядит баба с толстым лицом, а из нижнего, под ней, теленок и свинья, мужики — дурак на дураке, вот полюбуйтесь два дюжие болвана, рыжий и черный, дед Миняй и дядя Митяй, уселись взобрались верхом на коренного и трут себе яйца, григоча; или эти, глубокомысляще рассуждающие о колесе чичиковской брички, выражаются на манер кума «Ночи перед Рождеством»: «ты думаешь», — чего на Москве среди простых никогда не скажут.

Гоголевская Россия перевитая звучными малороссийскими «думами» — но ведь только наваждением еще можно объяснить, как могла пропустить цензура этот смертный приговор царской России, этому кораморе, пространству которого удивляются заграницей. Правда, автор заявляет, что все это дубоножие описано «сквозь незримые миру слезы»...

Толстой, насупясь, говорил о Гоголе, что предпочитает Марлинского и русского гоффманиста Погорельского, автора «Черной курицы», «Лафёртовой маковницы», и «Монастырки»: еще бы для его барского слуха, какой лакейской звучала гоголевская уличная галантерея с французской сюперфлю. Аристократ Катенин, друг Грибоедова, переводчик Корнеля и Расина, без содрогания не мог слышать имени Гоголь: «сально и тривиально!» А между тем вся русская литература вышла из Гоголя и без «Мертвых душ» не было бы «Войны и мира».



Чичикову было поручено похлопотать о залоге в Опекунском совете крестьян какого-то князя Хованского. Имение князя было расстроено, а князь задумал украсить свой дом в Москве по последней заграничной море, деньги требовались немедленно.

Всем известно, ни справка, ни выписка без расположения не делаются, так было и всегда будет, как в частных делах, так и в общественных. Чичиков влил в глотку секретарю бутылку мадеры и рассказал о деле князя Хованского: Чичикова смущало, что из закладываемых крестьян в живых почти никого

— Половина крестьян вымерло, сказал Чичиков, кабы не было потом придирки.

— Да ведь они по ревизии числятся?

— Числятся.

— Так чего ж вы оробели? и сам не подозревая, что умеет говорить в рифму, заметил: один умер, другой родится, а все в дело годится.

И Чичикова осенила вдохновеннейшая мысль, какая когда либо приходила в человеческую голову: «воскрешение мертвых».

«Эх, я, Аким простота! ищу рукавиц, а они обе за поясом!»

Приобрети он тысячу мертвых; в Опекунском Совете за душу дадут 200 рублей, вот и капитал — 200.000. На мертвых теперь самый лов, этого товару с избытком — обжорный ряд: эпидемии — народу вымерло, слава Богу не мало! — помещики промотались, да всякий с радостью, а то изволь платить подушные, за мертвых не зашибешь копейку, а вот дают деньги — предмет невероятный!

Без земли ни продать, ни заложить. Земли у него никакой, отцовский хутор тогда еще из рук ушел. По счастью в Херсонской и Таврической земля дается даром, мертвых он купит на вывод, туда и можно переселить.

— И пускай они там живут!

Чичиков мечтал о устройстве мертвых воскрешенных им душ, как Манилов о живых, устраивая в воображении на призрачном мосту лавки с необходимым товаром для крестьян. Деревню для воскрешенных он назовет Чичкино по отцовскому имени по неисправленному писарем Чичиков, как в честь своего ангела, сельцо Павлово, Воскресенское тож.

Осенив себя крестным знаменем по русскому православному обычаю — этим Гоголь думал окончательно переодеть своих хохлов в нас, московских кацапов — Чичиков принялся за осуществление своего вдохновенного мошенничества.

Тройкой — Заседатель, Чубарый и Гнедой, за кучера Селифан, лакеем Петрушка, на ранней летней заре, выехала из Волочиска бричка по Киевской дороге. Сквозь утреннюю дрему в глазах Чичикова тянулись впереди, сопровождаемые вооруженной стражей, тихие толпы мертвых переселенцев.

Всю дорогу он был весел необыкновенно, посвистывал и приставив к губам кулак, наигрывал губами как будто играл на трубе и, наконец, приподнявшись над пушистым грузинским ковриком, как над цветным облаком, затянул песню до того необыкновенную — он пел о «воскресении живых и мертвых»: он думал о себе — о полноте, разгуле широкой жизни и о невычеркнутых в ревизии оживавших мертвецах — Селифан слушал и покачав головой, сказал: «Виш ты, как барин поет!»

Густели сумерки. Тень со светом перемешивалась. Предметы переместились. Пестрый шлагбаум принял неопределенный цвет. Усы у солдата часового казались на лбу гораздо выше глаз, а носа не было вовсе.

СКВОЗЬ ПЕПЕЛЬНО-СИНИЙ ДУРМАН

МАНИЛОВ

День был светло-пепельный. Петух — голова проломлена до мозгу — горланил во все горло, похлопывая крыльями — одерганные старые рогожи. Парило.

Манилов вышел на крыльцо.

Его волосы — золотой налив, две раздавленные голубые косточки глаза, рот полураскрыт. Зеленый шалоповый сюртук.

«Если бы от дома провести подземный ход к пруду», подумал он, и вдруг очутился на пруду.

На зеленом пруду две бабы по щиколку в воде, заголя зад не замочить юбку, тащили за деревянные кляпы изорванный бредень. По вскриву губ, и как вцапывались глаза, можно было заключить, что бабы в ссоре и только занятые руки удерживают мордобой. В бредне запутались два рака и блестит плотва.

«Если бы, подумал он, через пруд выстроить мост!»

И не бредень с плотвой и раками, не картинно подоткнувшиеся бабы, в его глазах вдруг поднялся на пруду каменный мост: по обеим сторонам лавки, в лавках сидят купцы, продают всякую мелочь — товар необходимый в обиходе крестьян.

Голубые расплющенные косточки — глаза его вдруг сделались сладкие: мысль об улучшении быта крестьян осуществилась.

Скромный образованный офицер. Молчаливый. С глушинкой. Член Южного Общества (Союз Благоденствия). После декабрьских событий, вынужден был выйти в отставку. Выслан в деревню, Маниловку. В первый год занялся устройством дома на английский образец: парк, пруд и беседка — «Храм для уединенных размышлений», куда ему так и не удалось заглянуть ни разу, везде он чувствовал себя в уединении. «Освободить» крестьян он не мог, но смотрел не как на крепостных, а вольных, если кому вздумалось погулять просился у него заработать подать, его удивляла самая просьба. «Ступай!» говорил он, не спрашивая, куда и на долго ль и не справляясь, на сколько нужен в хозяйстве. Хозяйство его не занимало, в поля он не ездил. Все держалось на грамотном приказчике из крепостных же. И дворовым жилось свободно, не жаловались, оттого и Селифан напился и потом поминал «хорошего человека».

Все это хорошо, свободно и чудесный воздух: в стороне синел сосновый лес. Но в деревне одичать можно.

Манилов женился.

Лизочка «монастырка», поклонница Коцебу. Ее герои Ролл и Кору. У нее особенный выговор, и это вовсе не институтское, а по природе: она говорила, словно б мелких мушек глотала, и было очень спокойно и любопытно следить за словами. Никакая хозяйка, да и Манилов не Собакевич. «Щи — но от чистого сердца».

У обоих чистое сердце и верное чувство.

Они живут восемь лет вместе, а ничего не изменилось. Самое изменчивое не глаз, не слух, а чувство потеряло время. Им всегда хочется сделать что-нибудь, друг-другу «сюрприз». Если бы Манилов рисовал, все бы свои рисунки он дарил Лизочке. Часточку апельсина, кусочек торта, вишню — Лизочке. А Лизочка бисерный чехлик — у Гоголя на зубочистку, понятнее сказать — на стило. Конечно, именины и рождение отмечаются подарками. Тоже и особенные дни: начало весны, первый снег.

На столе у Манилова табак, и книга, второй год заложена на 14 странице — думаю, что не мистическая, а по экономике, и исписанная бумага, но это не счета, не деловые выписки, а неоконченные размышления — теперь он не пишет. На под-

оконниках рядами горки пепла: вытряхивает золу из трубки. Любимое времяпрепровождение наблюдать ряды пепла — странная постройка, неожиданные переходы, ручейки и извивы дорог — все как в мысли от одного к другому, вдруг.

И когда Манилов весь уходит в пепельный роман, Лизанька незаметно подойдет к нему и обнимет. И поцелуй — можно неспеша выкурить голуаз.

Тоже и он, когда она сидит за работой вышивает или рисует маленькие цветочки-рамку — этот поцелуй по томности и глубине впору только поцелуям украдкой.

У них два мальчика, старшему семь, младшему шесть, Саша и Костя, а прозвища Өемистоклюс и Алкид, изобретение не Манилова, а учителя семинариста, с согласия Манилова: Манилов сказал, как говорил приказчику на его хозяйственные предложения: «Я и сам так думал». Манилов хотел бы видеть своих детей античными мужами, полководцами для славы России, и видит из старшего вышел дипломат-посланник.

В имени Өемистоклюс — «юс» из детского произношения и у детей по их нежному рту обыкновенно, и только у взрослых получается сюсюк.

В окно глядит синий лес, на стене голубенькие обои, пепельно-синие клубы дыма и сквозь голубые глаза.

Манилов в кресле, не выпуская изо рта трубку, осуществляет в призраках свои заветные мысли или сквозь дурман.



— Не от мира сего этот Эммануилов!

— Да ведь это князь Мышкин!

— Дурачок.

Гоголь: «у каждого есть задор: собашники, лошадники, знакомство с высокопоставленными лицами, «раболепство», наконец, свистнуть кого-нибудь в морду, а Манилова характер — без задора».

— Николай Васильевич! а маниловское «парение» то, что назовется маниловщиной, а по Герцену и Бакунину «прекраснодушие». И «доверчивость», за что он прослыл «дурачком»: все, кого он ни встречает, «прекрасные люди», в каждом человеке он чувствует человека, без рассуждения, сердцем. И эта его человечность, это ль не задор?

К Чичикову потянула Манилова чичиковская обходительность. И то, что Чичиков, как и Манилов, страдает от грубости — такая природа: один пройдет мимо, а другой скорчится. Чичиков стал для Манилова «все, даже еще больше».

Чичиков смутился.

И еще больше смутила чистота мысли: она голубела в глазах Манилова.

И когда подошло к делу — с Манилова Чичиков начинает осуществление своей гениальной двойной мысли, «воскрешение мертвых», он покраснел, слова не выговаривались. «Я желаю иметь мертвых!» вырвалось, наконец, и он оглянулся. Манилов выронил чубук и разинул рот.

Чичиков почувствовал, что летит в пропасть и только ничем неистребимый задор вылезти в люди, вывел его к делу. Чичиков заплакал, вспомнив все унижения — «претерпел на службе за правду» и разъясня дело «мертвых», не узнал Манилова: перед ним стоял министр, в сжатых губах глубокое выражение: «не будет ли эта негоция несоответствующей гражданским постановлениям и дальнейшим видам России?» «Души», которые точно уже умерли, но живые относительно законной формы, Манилов, без всякой негоции, отдал Чичикову и успокоился на пользе государству: он сам заплатит пошлины по купчей.

Чичикову было удивительно, но он не сказал дурака, как скажет у Коробочки индейскому петуху, на неожиданное индейское «здравствуйте» — приветствие на его чох.



Манилов долго стоял на крыльце, провожая глазами отъезжавшую бричку. Давно синий лес спрятал дорогу, а он все стоял в тоске.

Все небо было в тучах. И такая тишина, страшнее всяких громов, и только б успеть укрыться. Упала капля — сейчас располыхнет и зашумит гроза.

Манилов прошел к себе. Уселся в кресло. Закурил. И думал о Чичикове, радуясь, что доставил ему небольшое удовольствие. Если бы им жить вместе, незаметно проходили бы часы деревенской скуки, изучали бы какую-нибудь науку — памятни-

ки древней русской письменности, словарь Даля, и потом рассуждали бы о мыслях и словах.

Он думал о благополучии дружеской жизни и как соревнование друзей пробуждает мысли.

«Как хорошо было бы жить с другом на берегу какой-нибудь реки!»

И в глазах его через реку перекинулся мост. А вот поднялся и дом, тут они будут жить. Бельведер на доме необыкновенной высоты, видна Москва.

«Хорошо на свежем воздухе чаю попить».

Тут они сели в богатые кареты и поехали на собрание в общество. И там всех очаровывают своей дружбой. И государь, узнав о такой дружбе, пожаловал их генералами. И в миг на плечах поручика Манилова и коллежского советника Чичикова, заструились золотые генеральские эполеты. «Продать мертвых!» ударил черный голос Чичикова. И чубук упал к ногам Манилова.

Гроза разламывала, сверкая.

МОРОК

Рассказывают, что тунгусы, попав впервые в город, растерялись: ходить по улицам, легко заблудиться! — и полезли на крышу: с крыши и на крышу виднее.

Тунгус! так на нем и написано. Но попадаются и среди не тунгусов, с первого взгляда не отличишь, человек как человек, а попробуй с ним по-людски, и его с толку собьешь и сам не обрадуешься; оказывается, да он простой арифметики не знает и не обходя, прет прямо в стену.

Одни родятся в явь, другие в сон.

Для одних день и арифметика, земля, а тому ночному с глазами на морок, — что может дать земля, которая во власти дня? Да хорошего не жди, одна тебе во всем путаница, а награда беда.

Тунгусы, пробираясь по крышам, мало сказать, свернули себе шею, а будет вернее: ни знакомых не разыскали, да и назад в тайгу к себе не вернулись.

Гоголь из ночи, среди людей тунгус, задумал дневной дорогой пройти в царство небесное. Что получилось, всем известно.

У Гоголя или сон или наваждение: морок или морока.

Морока под глазом цыгана (Красная свитка) или чумаков (Заколдованное место) или Басаврюка (Ночь под Ивана Купала). А морок — сон Ивана Федоровича Шпоньки, сон Чарткова (Портрет), сон пана Данилы и Катерины (Страшная месть), сон Левко (Майская ночь), сон философа Хомы Брута (Вий) и кузнеца Вакулы (Ночь перед Рождеством), сон городничего (Ревизор), сон деда и бабки (Пропавшая грамота), сон Ноздрева.

«Сны редко говорят правду». Сны Гоголя чистая правда. «Сон дурень». Да чего ж дурнее сна деда! Рассказу «Нос» дана форма сна, в котором дури не отбавляй, расплеснешь.

Да разве венец — «Мертвые души» не сплошная дурь? И вся жизнь человека в кругу рыл и дряни с просветом преступления не дурь ли?

1

НАВАЖДЕНИЕ С ГУСИНЫМ ЛИЦОМ

И ДУРНАЯ МАТЕРИЯ

Сон Ивана Федоровича Шпоньки

Четырехступенной сон с толчками мгновенных пробуждений в мутную явь среди превращений.

Жена превращается в гусиное лицо, и это гусиное в комнате с четырех сторон замкнутой стеной, и трижды в саду: из шляпы, с платком из кармана и из уха с хлопчатой бумагой, как нательное — внутренняя стена. Под глазом жены и напялил на себя жену — безвыходно: «женат».

Тетушка превращается в колокольню, а скачущий на одной ножке женатый Иван Федорыч в колокол, что подтверждает, проходивший мимо, полковник — свидетельство бесспорное. А тащит колокол на веревке жена. Обставленный и обложенный женой, Иван Федорович — колокол должен вызванивать

жену: жена заполнила его. Это самое глубокое погружение в сне.

Жена превращается в шерстяную материю — «материю-жену». Могилевский портной меряет и режет ее, нахваливая: «модная, добротная». Но портной открывает глаза Ивану Федоровичу: «Дурная материя, говорит он, из нее никто не шьет себе сюртука».

Превращение жены в материю чисто сонное превращение с игрою слов: высокая, скучная, дурная материя.

Заключительный сюртук предостерегает: «облечься во что, значит, что-то обложит и вглубляясь, проникнет и заполнит — стена, платок, хлопчатая бумага и наконец, колокольный звон — женой, в жене, из жены.



«Слушай, Иван Федорович: я хочу поговорить с тобой серьезно. Ведь тебе, слава Богу, тридцать осьмой год; чин ты уже имеешь хороший: пора подумать и о детях! Тебе непременно нужна жена». — «Как тетушка! вскричал, испугавшись, Иван Федорович, как жена! Нет-с, тетушка, сделайте милость. Вы совершенно в стыд меня приводите. Я еще никогда не был женат. Я совершенно не знаю, что с нею делать!» — «Узнаешь, Иван Федорович, узнаешь», промолвила, улыбаясь, тетушка, и подумала про себя: «куды ж! ще зовсим молода дытына: ничего не знает!» — «Да, Иван Федорович! продолжала она вслух, лучшей жены нельзя сыскать тебе, как Марья Григорьевна. Тебе же она притом очень понравилась...» — — — В это время бричка подъехала ко двору, и древние клячи ожили, чуя близкое стойло. — — — «Ну, Иван Федорович, я советую тебе хорошенько подумать об этом». — — — Но Иван Федорович стоял, как будто громом оглушенный. Правда, Марья Григорьевна очень недурная барышня; но жениться! Это казалось ему так странно, так чудно, что он никак не мог подумать без страха. Жить с женою! непонятно! Он не один будет в своей комнате, но

их должно быть везде двое! Пот проступал у него на лице, по мере того, как углублялся он в размышление. Ранее обыкновенного лег он в постель, но, несмотря на все старания, никак не мог заснуть. Наконец, желанный сон, этот всеобщий успокоитель, посетил его; но какой сон! Еще несвязнее сновидений он никогда не видывал».

1) То снилось ему, что вокруг него все шумит, вертится, а он бежит, бежит, не чувствуя под собою ног. Вот уж выбивается из сил. Вдруг кто-то хватает его за ухо. «Ай! кто это?» — «Это я, твоя жена!» с шумом говорит ему какой-то голос. И он вдруг пробуждался.

2) То представлялось ему, что он уже женат, что все в домике их так чудно, так странно: в его комнате стоит, вместо одинокой, двойная кровать; на стуле сидит жена. Ему странно: он не знает, как подойти к ней, что говорить с нею, и замечает, что у нее гусиное лицо. Нечаянно поворачивается он в сторону и видит другую жену, и тоже с гусиным лицом. Поворачивается в другую сторону — стоит третья жена; назад — еще одна жена. Тут его берет тоска: он бросился бежать, но в саду жарко, он снял шляпу, видит: и в шляпе сидит жена. Пот выступил у него на лице. Полез в карман за платком — и в кармане жена; вынул из уха хлопчатую бумагу — и там сидит жена.

3) То вдруг он прыгал на одной ноге, а тетушка, глядя на него, говорила с важным видом: «Да, ты должен прыгать, потому что ты теперь уже женатый человек». Он к ней; но тетушка, — уже не тетушка, а колокольня. И чувствует, что его кто-то тащит веревкою на колокольню. «Кто это тащит меня?» жалобно проговорил Иван Федорович. «Это я, жена твоя, тащу тебя, потому что ты колокол!» — «Нет, я не колокол, я Иван Федорович!» кричит он. «Да, ты колокол», говорит, проходя мимо, полковник. П. пехотного полка.

4) То вдруг снилось ему, что жена вовсе не человек, а какая-то шерстяная материя; что он в Могилеве приходит в лавку к купцу. «Какой прикажете материи?»

говорит купец, «вы возьмите жены, это самая модная материя! очень добротная! из нее все теперь шьют себе сюртуки». Купец меряет и режет жену. Иван Федорович берет ее подмышку, идет к портному. «Нет, говорит портной, эта дурная материя! из нее никто не шьет себе сюртука...»

В страхе и беспамятстве просыпался Иван Федорович; холодный пот лился с него градом. Как только встал он поутру, тотчас обратился к гадательной книге, в конце которой один добродетельный книгопродавец, по своей редкой доброте и бескорыстию, поместил сокращенный снотолкователь. Но там совершенно не было ничего, даже хотя немного похожего на такой бессвязный сон.



Образы сна и образы действительности мало чем отличаются на глаз Гоголя. Что удивительного в гусином жены из сна, когда при свете дня казначей — черной шерсти пудель (Нос); Цыбуля — бурак (Сороч. яр.); Спирид — лопата (Вий). Или: если случится проезжать заштатный городишко Погар, непременно увидишь, что из окна одного деревянного весьма крепкого дома, глядит полное и без всяких рябин лицо, цветом похожее на свежую, еще непоношенную, подошву» (Неоконченная повесть).

Мир, как наваждение; во сне и наяву морока, и некуда проснуться.

II

СИНИЙ ВСОС

Сон Чарткова, Портрет

Трехступенной сон — лунный всос — с пробуждением во сне — выходом в новое сновидение. Третье сновидение, после

которого «действительно» проснется, происходит на поверхности первого: за простыней, которой закрыт портрет, движутся руки. Весь сон можно представить как спуск и подъем.

I. Старик выходит из рамки. II. Чартков вышел из-за ширм; губы старика вытягиваются к нему, как-будто хотели его высосать. III. Чартков видит в щелку, как старик силится выйти из рамки.

У Чарткова пропадает голос и ноги не слушаются. У Хомы Брута в Вии — и руки деревенеют. Невозможность сопротивляться, сонное состояние. Как и возвращение: старик ушел из-за ширмы и снова слышатся приближающиеся шаги (I). Это страх.

Действительность входит в сон звуком и цветом. Золото звенело тонко и глухо: шелест приближающихся шагов, — а это храпел Никита из передней. Игра лунного света. Холодное синеватое сияние месяца усиливается, лунная синь превращается в длинные столбики, завернутые в синюю бумагу и как отсвет, желтые червонцы, бронзовое лицо старика.

Холст, гипсовая рука, драпировка, штаны, нечищенные сапоги — лунное поле для живых изводящих глаз портрета.

Золото разворачивалось в когтистых руках старика — эти руки, они в «Страшной мести», грозящая судьба.



> Он опять подошел к портрету, чтобы рассмотреть глаза, и с ужасом заметил, что они точно глядят на него. Это уже не была копия с натуры: это была та странная живость, которою бы озарилось лицо мертвеца, вставшего из могилы. Свет ли месяца, несущий с собой бред мечты и облекающий все в иные образы, противоположные положительному дню, или что другое было причиною тому, — только ему сделалось вдруг страшно сидеть одному в комнате. Он тихо отошел от портрета, отворотился в другую сторону и старался не глядеть, а между тем глаз невольно, косясь, окидывал его. Наконец, ему сделалось даже страшно ходить по комнате: ему казалось, кто-то другой станет ходить позади его, — и он робко оглядывался.

Он не был никогда труслив, но воображение и нервы его были чутки, и в этот вечер он сам не мог истолковать себе своей невольной боязни. Он сел в уголок, но и здесь казалось ему, что кто-то вот-вот взглянет через плечо. Самое храпенье Никиты, раздававшееся из передней, не прогоняло его боязни.

Наконец, робко, не подымая глаз, поднялся он со своего места, отправился к себе за ширмы и лег. Сквозь щелки в ширмах он видел освещенную месяцем свою комнату и видел прямо висевший на стене портрет. Глаза еще страшнее, еще значительнее вперлись в него и, казалось, не хотели ни на что другое глядеть, как только на него. Полный тягостного чувства, он решился встать с постели, схватил простыню и, приблизясь к портрету, закутал его всего.

I. Сделавши это, он лег спокойнее, стал думать о бедности и жалкой судьбе художника, о тернистом пути, предстоящем ему на этом свете; а между тем, глаза его невольно глядели сквозь щелку ширм на закутанный простынею портрет. Сияние месяца усиливало белизну простыни, и ему казалось, что страшные глаза стали даже просвечивать сквозь холстину. Со страхом вперил он пристальные глаза, как бы желая увериться, что это вздор. Но уже в самом деле... он видит, видит ясно: простыни уже нет... портрет открыт весь и глядит, мимо всего, что ни есть вокруг, прямо в него, — глядит к нему во-внутрь... У него захолонуло сердце. И видит: старик пошевелился и вдруг уперся в рамку обеими руками, приподнялся на руках и высунув обе ноги, выпрыгнул из рам... Сквозь щелку видны были уже одни только пустые рамы. По комнате раздался стук шагов, который становился ближе и ближе к ширмам. Сердце стало сильно колотиться. С занявшимся от страха дыханьем, он ожидал, что вот-вот глянет к нему за ширмы старик. И вот он глянул бронзовым лицом и поводя глазами. Чартков силился вскрикнуть — и почувствовал, что у него нет голоса, силился пошевельнуться, сделать какое-нибудь движение — не движутся члены. С раскрытым ртом и замершим дыханьем, смотрел он на этот

странный фантом высокого роста, в какой-то широкой азиатской рясе, и ждал, что станет он делать. Старик сел почти у самых ног его и вслед за тем что-то вытащил из-под складок своего широкого платья. Это был мешок. Старик развязал его и схватив за два конца, встряхнул: с глухим звуком упали на пол тяжелые свертки, ввиде длинных столбиков; каждый был завернут в синюю бумагу и на каждом было поставлено: «1000 червонных». Высунув свои длинные, костистые руки из широких рукавов, старик начал разворачивать свертки. Золото блеснуло. Как ни велико было тягостное чувство и обеспамятевший страх художника, но он вперился весь в золото, глядя неподвижно, как оно разворачивалось в костистых руках, блестело, звенело тонко и глухо, и заворачивалось вновь. Тут заметил он один сверток, откатившийся подалее от других к самой ножке его кровати, в головах у него. Почти судорожно схватил он его и полный страха, смотрел, не заметил ли старик. Но старик был, казалось, очень занят; он собрал все свертки свои, уложил их снова в мешок и не взглянувши на него, ушел за ширмы. Сердце билось сильно у Чарткова, когда он услышал как раздался по комнате шелест удалявшихся шагов. Он сжимал покрепче сверток в своей руке, дрожа всем телом, — и вдруг услышал, что шаги вновь приближаются к ширмам — видно, старик вспомнил, что недоставало одного свертка. И вот — он глянул к нему вновь за ширмы. Полный отчаяния, художник стиснул всею силою в руке свой сверток, употребил все усилие сделать движенье, вскрикнул — и проснулся.

П. Холодный пот облил его всего; сердце билось так сильно, как только могло биться; грудь была стеснена, как-будто хотело улететь из нее последнее дыханье. «Неужели это был сон?» — сказал он, взявши себя обеими руками за голову. Но страшная живость явленья не была похожа на сон. Он видел, уже пробудившись, как старик ушел в рамки, мелькнула даже пола его широкой одежды, а рука чувствовала ясно, что держала за минуту перед сим какую-то тяжесть. Свет ме-

сяца озарял комнату, заставляя выступать из темных углов — где холст, где гипсовую руку, где оставленную на стуле драпировку, где панталоны и нечищенные сапоги. Тут только заметил он, что не лежит, а стоит прямо перед портретом. Как он добрался сюда — уж этого никак не мог понять. Еще более изумило его, что портрет был открыт весь, и простыни на нем, действительно, не было. С неподвижным страхом глядел он на него и видел, как прямо вперились в него живые человеческие глаза. Холодный пот выступил на лице его; он хотел отойти, но чувствовал, что ноги его как-будто приросли к земле. И видит он, — что это уж не сон, — черты старика двинулись, и губы его стали вытягиваться к нему, как-будто хотели его в ы с о с а т ь... С воплем отчаяния отскочил он — и проснулся.

III. «Неужели это был сон?» С бьющимся на разрыв сердцем ощупал он руками вокруг себя. Да, он лежит на постели, в таком точно положении, как заснул. Перед ним ширмы: свет месяца наполнял комнату. Сквозь щель в ширмах виден был портрет закрытый, как следует, простынею, так, как он сам закрыл его. Итак, это был тоже сон. Но сжатая рука еще чувствует, как-будто бы в ней что-то было. Биенье сердца было сильно, почти страшно; тягость в груди невыносимая. Он вперил глаза в щель и пристально глядел на простыню. И вот видит ясно, что простыня начинает раскрываться, как-будто бы под нею барахтались руки и силились ее сбросить. «Господи, Боже мой, что это?» — вскрикнул он, крестясь отчаянно, — и проснулся.

«И это был так же сон!» Он вскочил с постели, полоумный, обеспамятевший, и уже не мог изъяснить, что это с ним делается: давленье ли кошмара, или домового, бред ли горячки, или живое виденье. — — — Он подошел к окну и открыл форточку. Холодный, пахнувший ветер оживил его. Лунное сиянье лежало все еще на крышах и белых стенах домов. — — — Долго глядел он, высунувши голову в форточку. Уже на небе рождались признаки приближающейся зари; наконец, почувствовал он дремоту, захлопнул форточку, отошел

прочь, лег в постель и скоро заснул, как убитый, самым крепким сном.

Проснулся он очень поздно и почувствовал в себе то неприятное состояние, которое овладевает человеком после угара: голова болела.



Пробуждение в действительность, которая мало чем отличается от сна: Чартков после своего сна пасмурный и недовольный — мокрый петух; хозяин Чарткова — цвет изношенного сюртука; соседи пепельный разряд людей, мутная пепельная наружность, молчат, ни о чем не думая; полицейские особая порода; топорное устройство полицейских рук.

Из трехступенного сна Чарткова сон Свидригайлова в «Преступлении и Наказании».

Вторая часть портрета превыспренная словесность-отголосок южно-русского театра, Чартков по складу речи актер из Гамлета.

III

ВТОРОЕ ВИДЕНИЕ

Сон Катерины и сон пана Данилы о сне Катерины, Страшная месть

1

СОН КАТЕРИНЫ

Сон Катерины — чары колдуна, ее отца. Во сне он открывает ей свое желание: было б быть ей его женой. По наблюдению сабашников: самая лучшая порода от скрещивания отца с дочерью: «конденсация усиливает ток крови!» говорил мне сабашник, подливая из нутра в-бас. От колдуна-отца и его доче-

ри Катерины зародится большой силы колдун — единственная его надежда отсрочить судьбу страшной мести.



Блеснул день, но не солнечный: небо хмурилось, и тонкий дождь сеялся на поля, на леса, на широкий Днепр. Проснулась пани Катерина, но не радостна: очи заплаканы, и вся она смутна и неспокойна: «Муж мой милый, муж дорогой! чудный мне сон снился!» — «Какой сон, моя любая пани Катерина?» — «Снилось мне, чудно право, и так живо, будто наяву, снилось мне, что отец мой есть тот самый урод, которого мы видели у есаула. Но прошу тебя, не верь сну: каких глупостей не привидится! Будто я стояла перед ним, дрожа вся, боялась, и от каждого слова его стонали мои жилы. Если б ты слышал, что он говорил...» — «Что же он говорил, моя золотая Катерина?» — «Говорил: «Ты посмотри на меня, Катерина, я хорош. Люди напрасно говорят, что я дурен. Я буду тебе славным мужем. Посмотри, как я поглядываю очами». Тут навел он на меня огненные очи, я вскрикнула и пробудилась». — «Да, сны много говорят правды...»

2

СОН ПАНА ДАНИЛЫ

Пан Данила видит во сне сон Катерины. Видеть во сне, что другому снится явление редкое, есть еще у Лермонтова: «В полдневный жар в долине Дагестана». Но пестрого семипоясного сна, как этот сон, в литературе единственный.

Семь ступеней сна — семь цветных поясов:
1) Бледно-золотой, 2) Прозрачно-голубой, 3) С тихим звоном розовый, 4) Черный, 5) Темно-синий с серебром, 6) черный, 7) звучащий розовый.

Звучащая краска больше чем озвончатые глухие буквы: переход слова в напевное — усиленное звучание, а превращение света в звук переход из глаза в ухо, цвет может заговорить или краски разнозвучны.

В комнате света нет, а светит: золотисто-желтый свет — цвет чар, то, что называется «напущено». Этот свет глушит посторонние звуки: дверь отворилась без скрипа.

Красный жупан — красная свитка — отблеск адского пламени. Силой колдовства можно вызвать душу, а бревну дать свой образ.

Наша душа знает больше, чем мы сознаем.

Катерина из сна узнает об убийстве своей матери. Сверхсознательное значение сказывается в творчестве.

Как в Вии и Портрете — все движения окованы: губы шевелятся без звука — в сонном состоянии всегда.



Пообедав, заснул Данило молодецким сном и проснулся только около вечера. Сел и стал писать листы в казацкое войско; а пани Катерина стала качать ногою люльку, сидя на лежанке. Сидит пан Данило, глядит левым глазом на писание, а правым в окошко. А из окошка далеко блестят горы и Днепр; за Днепром синеют леса; мелькает сверху прояснившееся н о ч н о е н е б о. Но не далеким небом и не синим лесом любуется пан Данило: глядит он на выдавшийся мыс, на котором темнел старый замок. Ему почудилось, будто блеснуло в замке огнем узенькое окошко. Но все тихо; это верно показалось ему. Слышно только как глухо шумит внизу Днепр, и с трех сторон, один за другим, отдаются удары мгновенно пробудившихся волн. Он не бунтует; он, как старик, ворчит и ропщет; ему все не мило; все переменилось около него; тихо враждует он с прибережными горами, лесами, лугами и несет на них жалобу в Черное море. Вот по широкому Днепру зачернела лодка, и в замке снова как-будто блеснуло что-то. Потихоньку свистнул Данило и выбежал на свист верный хлопец. «Бери, Стецько, с собою скорее острую саблю да винтов-

ку, да ступай за мною!» — «Ты идешь?» спросила пани Катерина. — «Иду, жена. Нужно осмотреть все места, все ли в порядке». — «Мне, однако ж, страшно оставаться одной. Меня сон так и клонит; что, если мне приснится то же самое? Я даже не уверена, точно ли сон был, так это происходило живо». — «С тобою старуха останется; а в сенях и на дворе спят казаки». — «Старуха спит уже, а казакам что-то не верится. Слушай, пан Данило: замкни меня в комнате, а ключ возьми с собою. Мне тогда не так будет страшно; а казаки пусть лягут перед дверями». — «Пусть будет так!» сказал Данило, стирая пыль с винтовки и насыпая на полку порох. Верный Стецько уже стоял одетый во всей казацкой сбруе, Данило надел смушевую шапку, закрыл окошко, задвинул засовами дверь, замкнул и, промеж спавшими своими казаками, вышел потихоньку из двора в горы. Небо почти все прочистилось. Свежий ветер чуть-чуть навевал с Днепра. Если бы не слышно было издали стенания чайки, то все бы казалось онемевшим. Но вот почудился шорох. Бурульбаш с верным слугою тихо спрятался за терновник, прикрывший срубленный засек. Кто-то в красном жупане, с двумя пистолетами, с саблею при боку, спускался с горы. «Это тесть, проговорил пан Данило, разглядывая его из-за куста, зачем и куда ему итти в эту пору? Стецько, не зевай, смотри в оба глаза, куда возьмет дорогу пан отец». Человек в красном жупане сошел на самый берег и поворотил к выдавшемуся мысу. «А вот куда! сказал пан Данило, что, Стецько, ведь он как-раз потащился к колдуну в дупло?» — «Да, верно, не в другое место, пан Данило! иначе мы бы видели его на другой стороне; но он пропал около замка». — «Постой же, вылезем, а потом пойдем по следам. Тут что-нибудь да кроется. Нет, Катерина, я говорил тебе, что отец твой недобрый человек; не так он и делал все, как православный». Уже мелькнули пан Данило и его верный хлопец на выдавшемся берегу. Вот уж их и не видно; непробудный лес, окруживший замок, спрятал их. Верхнее окошко тихо за-

светилось; внизу стоят казаки и думают, как бы влезть им: ни ворот, ни дверей не видно; со двора, верно, есть ход; но как войти туда? Издали слышно, как гремят цепи и бегают собаки. «Что я думаю долго? сказал пан Данило, увидя перед окном высокий дуб, стой тут, малый. Я полезу на дуб: с него прямо можно глядеть в окошко».

1) Тут снял он с себя пояс, бросил вниз саблю, чтоб не звенела, и ухватясь за ветви, поднялся вверх. Окошко все еще светилось. Присев на сук, возле самого окна, уцепился он рукой за дерево и глядит: в комнате и свечи нет, а светит. По стенам чудные знаки; висит оружие, но все странное: такого не носят ни турки, ни крымцы, ни ляхи, ни христиане, ни славный народ шведский. Под потолком взад и вперед мелькают нетопыри, и тень от них мелькает по стенам, по дверям, по помосту. Вот отворилась без скрипа дверь. Входит кто-то в красном жупане и прямо к столу, накрытому белою скатертью. «Это он, это тесть!» Пан Данило опустился немного ниже и прижался крепче к дереву.

2) Но тестю некогда глядеть, смотрит ли кто в окошко. Он пришел пасмурен, не в духе, сдернул со стола скатерть — и вдруг по всей комнате тихо разлился прозрачо-голубой свет; только не смешавшиеся волны прежнего бледно-золотого переливались, ныряли, словно в голубом море, и тянулись слоями, будто на мраморе. Тут поставил он на стол горшок и начал кидать в него какие-то травы. Пан Данило стал вглядываться и не заметил на нем красного жупана; вместо того, показались на нем широкие шаровары, какие носят турки; за поясом пистолеты; на голове какая-то чудная шапка, исписанная вся не русскою и не польскою грамотою. Глянул в лицо — лицо стало переменяться: нос вытянулся и повиснул над губами; рот в минуту раздался до ушей; зуб выглянул изо рта, загнулся на сторону, и стал перед ним тот самый колдун, который показался на свадь-

бе есаула. «Правдив сон твой, Катерина!» подумал Бурульбаш.

3) Колдун стал прохаживаться вокруг стола, знаки стали быстрее переменяться на стене, а нетопыри залетали сильнее вниз и вверх, взад и вперед. Голубой свет становился реже, реже и совсем погас. И светлица осветилась уже тонким розовым светом. Казалось, с тихим звоном разливался чудный свет по всем углам и вдруг пропал.

4) И стала тьма. Слышался только шум, будто ветер в тихий час вечера наигрывал, кружась по водному зеркалу, нагибая еще ниже в воду серебряные ивы.

5) И чудится пану Даниле, что в светлице блестит месяц, ходят звезды, неясно мелькает темно-синее небо и холод ночного воздуха пахнул даже ему в лицо.

6) И чудится пану Даниле (тут он стал щупать себя за усы, не спит ли?), что уж не небо в светлице, а его собственная опочивальня: висят на стене его татарские и турецкие сабли; около стен полки, на полках домашняя посуда и утварь; на столе хлеб и соль; висит люлька... но вместо образов выглядывают страшные рожи, на лежанке... Но сгустившийся туман покрыл все, и стало опять темно.

7) И опять с чудным звоном осветилась вся светлица розовым светом, и опять стоит колдун неподвижно в чудной чалме своей. Звуки стали сильнее и гуще, тонкий розовый свет становился ярче, и что-то белое, как-будто облако, веяло посреди хаты.

И чудится пану Даниле, что облако то не облако, что то стоит женщина; только из чего она: из воздуха, что ли, вытканa? Отчего же она стоит, и земли не трогает, и не опершись ни на что, и сквозь нее, просвечивает розовый свет и мелькают на стене знаки? Вот она пошевелила прозрачною головою своею: тихо светятся ее бледно-голубые очи; волосы вьются и падают по плечам ее, будто светло-серый ту-

ман; губы бледно алеют, будто сквозь бело-прозрачное утреннее небо льется едва приметный алый свет зари; брови слабо темнеют... Ах! это Катерина!

(Тут почувствовал Данило, что члены у него *оковались*; он силился говорить, но губы шевелились *без звука*).

Неподвижно стоял колдун на своем месте. «Где ты была?» — спросил он. И стоявшая перед ним затрепетала. «О, зачем ты меня *вызвал?* тихо простонала она, мне было так радостно. Я была в том самом месте, где родилась и прожила пятнадцать лет. О, как хорошо там! Как зелен и душист тот *луг*, где я играла в детстве! И *полевые цветы* те же, и хата наша, и огород! О, как обняла меня добрая *мать моя*. Какая любовь у ней в очах. Она приголубливала меня, целовала в уста и щеки, расчесывала частым гребнем мою русую косу... Отец! тут она вперила в колдуна бледные очи, — зачем ты *зарезал мать мою?*» Грозно колдун погрозил пальцем. «Разве я тебя просил говорить про это?» И воздушная красавица задрожала. «Где теперь пани твоя?» — «Пани моя, *Катерина*, теперь *заснула*, а я и обрадовалась тому, вспорхнула и полетела. Мне давно хотелось *увидеть мать*. Мне вдруг сделалось пятнадцать лет; я вся стала легка, как птица. Зачем ты меня вызвал?» — «Ты помнишь все то, что я говорил тебе вчера?» спросил колдун так тихо, что едва можно было расслушать. «Помню, помню; но чего бы ни дала я, чтобы только забыть это. Бедная Катерина! она *многого не знает из того, что знает душа ее*».

(«Это Катеринина душа», подумал пан Данило; но все еще не смел пошевелиться).

«Покайся, отец! Не страшно ли, что после каждого *убийства* твоего, *мертвецы поднимаются из могил?*» — «Ты опять за старое!» грозно прервал колдун, я поставлю на своем, я заставлю тебя сделать, что мне хочется. Катерина полюбит ме-

ня!» — «О, ты чудовище, а не отец мой! простонала она, нет, не будет по твоему. Правда, ты взял нечистыми чарами твоими власть вызывать душу и мучить ее; но один только Бог может заставить ее делать то, что Ему угодно. Нет, никогда Катерина, доколе я буду держаться в ее теле, не решится на богопротивное дело. Отец! близок страшный суд! Если б ты и не отец мой был, и тогда бы не заставил меня изменить моему любимому, верному мужу. Если бы муж мой и не был мне верен и мил, и тогда бы не изменила ему, потому что Бог не любит клятвопреступных и неверных душ». Тут вперила она очи свои в окошко, под которым сидел пан Данило, и неподвижно остановилась. «Куда ты глядишь? Кого ты там видишь?» закричал колдун. Воздушная Катерина задрожала.

Но уж пан Данило был давно на земле и пробирался со своим верным Стецьком в свои горы. «Страшно, страшно!» говорил он про себя, почувствовав какую-то робость в казацком сердце, и скоро прошел двор свой, на котором так же крепко спали казаки, кроме одного, сидевшего на стороже и курившего люльку. Небо все было засеяно звездами.

«Как хорошо ты сделал, что разбудил меня! говорила Катерина, протирая очи рукавом своей сорочки и разглядывая с ног до головы стоявшего перед нею мужа, какой страшный сон мне виделся! Как тяжело дышала грудь моя! Ух! Мне казалось, что я умираю». — «Какой же сон? уж не этот ли?» И стал Бурульбаш рассказывать жене своей все, им виденное. «Ты как это узнал, мой муж? спросила изумившись Катерина, но нет, многое мне неизвестно из того, что ты рассказываешь. Нет, мне не снилось, что отец убил мать мою; ни мертвецов, ничего не виделось мне. Нет, Данило, ты не так рассказываешь. Ах, как страшен отец мой!» — «И не диво, что тебе многое не виделось. Ты не знаешь и десятой доли того, что знает душа. Знаешь ли, что отец твой антихрист! — — — Мне говорил игумен Братского монастыря — — что антихрист имеет власть вызывать душу каждого человека; а душа гуляет по всей воле, когда заснет он, и летает вместе с архангелами около Божией светлицы».

В этой песне о колдуне и его дочери — «Страшная месть» вся песенная — Гоголь рассказывает о себе, о прошлом, что открылось его душе. Есть и из настоящей жизни.

«Говорят, что он родился таким страшным и никто из детей сызмала не хотел играть с ним. Как страшно говорят, будто ему все чудилось, что все смеются над ним... Встретится ли под темный вечер с каким-нибудь человеком и ему тотчас покажется, что тот открывает рот и скалит зубы — и на другой день находили мертвым того человека».

Гоголь в детстве получал тычки за свой необычайный вид — за свой колкий птичий нос. А потом из гонимого сделался коноводом, за ним ходили, подчиняясь ему во всем, а случилось это после того, как стал он направо и налево раздавать, вклеивая чище подзатыльника, смешные прозвища.

Обыкновенно Гоголь страшное пересыпает забубенным балагурьем, и только в «Страшной мести» не смех, а песня — песня о величьи необъятного мира и его тайны.

Достоевский в «Хозяйке» пытался подделать свою Катерину под голос Катерины «Страшной мести», но родился без песни и пропелось фальшиво.

Знак судьбы паутина, а Достоевский прибавит «паучиная». Но выражение ужаса единственное у Гоголя: «Дух занялся у Катерины, и ей чудилось, что волосы стали отделяться на голове ее». Как нет ни у кого, только у Гоголя, такой далекой дали зрения и слов выражающих преследование.



«За Киевом показалось неслыханное чудо. Все паны и гетманы собирались дивиться этому чуду: вдруг стало видимо далеко во все концы света. Вдали засинел Лиман, за Лиманом разливалось Черное море. Бывалые люди узнали и Крым, горою подымавшийся из моря, и болотный Сиваш. По левую руку видна была земля Галичская, а то Карпатские горы!»



«Уж он хотел перескочить с конем через узкую реку, выступившую рукавом среди дороги, как вдруг конь

на всем скаку остановился, заворотил к нему морду, и — чудо — засмеялся! белые зубы страшно блеснули двумя рядами во мраке. Дыбом поднялись волосы на голове колдуна: Дико закричал он и заплакал, как исступленный и погнал коня прямо к Киеву.

Ему чудилось, что все со всех сторон бежало ловить его: деревья, обступив темным лесом, и как-будто живые, кивая черными бородами и вытягивая длинные ветви силились задушить его; звезды, казалось, бежали впереди перед ним, указывая всем на него: сама дорога, чудилось, мчалась по следам его».

Только голосом можно передать всю глубину словесных знаков смутных и безразличных при чтении непоющими глазами. Только с голоса слышно, что Днепр не Днепр, а библейский Геон, Фиссон, Тигр и Ефрат, а Черное море не Черное, а Тивериадское, прародина всего живого на земле. И только через голос звучен обрекающий приговор судьбы и предостережение: глас человеческой мудрости.

IV

ОБРАТНОЕ ЗРЕНИЕ
И ЧЕРНОЕ ПЯТНО СКВОЗЬ СТЕКЛО

Сон Левка. Майская ночь

Левко видит в пруду перевернутое отражение дома и сам как бы погружается в воду вниз головой, видит, что в доме.

Заклинанием месяца он вызывает голос панночки. Панночка бледная, как блеск месяца — прибавлено к истертому от употребления «полотну».

Колдует месяц: «огромный огненный месяц величественно стал вырезываться из земли. Еще половина его была под землею, а уж весь мир исполнился какого-то торжественного света. Пруд тронуло искрами. Тень от деревьев ясно стала отделяться от тем-

ной зелени. Чернел лес, обсыпаясь на конечности, стоявшей лицом к месяцу, тонкою серебряною пылью. Какое-то странное упоительное сияние примешивалось к блеску месяца» (В «Вии» он зазвучит серебряными колокольчиками).

Русалки греются на месяце: их прозрачный стеклянный покров холоднее мертвого лунного света.

Образ русалки дважды: в «Страшной мести» и в сне Левко.

«В час, когда вечерняя заря гаснет, еще не являются звезды, не горит месяц, а уже страшно в лесу: по деревьям царапаются и хватаются за сучья некрещеные дети, рыдают, хохочут, катятся клубом по дорогам и в широкой крапиве; из днепровских волн выбегают вереницами погубившие свои души; волосы льются с зеленой головы на плечи; вода звучно журча, бежит с длинных волос на землю, и дева светится сквозь воду, какбудто сквозь стеклянную рубашку; уста чудно усмехаются, щеки пылают, очи выманивают душу... она сгорела бы от любви, она зацеловала бы. Беги, крещеный человек! Уста ее — лед, постель — холодная вода; она защекочет тебя и утащит в реку» (Страшная месть).

«Тело было сваяно из прозрачных облаков, светилось насквозь при серебряном месяце».

А у ведьмы-русалки: «внутри виднелось что-то черное». Это черное — злобная радость.

На ведьму, как известно, есть верная отрава: огонь. Но от простого огня ведьма не загорится, а только от папиросы (люльки).

Так Гоголь отводит страх от пугливых.

Да ведь и русалки только во сне снятся и рекомендательные записки пишут.



Виновник всей этой кутерьмы медленно подходил к старому дому и пруду. ——— Величественно и мрачно чернел кленовый лес, обсыпаясь только на конечности, стоявшей лицом к месяцу, тонкою серебряною пылью. Неподвижный пруд подул свежестью на усталого пешехода и заставил его отдохнуть на берегу. Все было тихо; в глубокой чаще леса слышались только раскаты соловья. Непреодолимый сон быстро стал смыкать ему зе-

ницы; усталые члены готовы были забыться и онеметь; голова клонилась... «Нет, этак я засну еще здесь!» говорил он, подымаясь на ноги и протирая глаза,

Оглянулся: ночь казалась перед ним еще блистательнее. Какое-то странное, упоительное сияние примешалось к блеску месяца. Никогда еще не случалось ему видеть подобного. Серебряный туман пал на окрестность. Запах от цветущих яблонь и ночных цветов лился по всей земле. С изумлением глядел он в неподвижные воды пруда; старинный господский дом, опрокинувшись вниз, виден был в нем чист и в каком-то ясном величии. Вместо мрачных ставней, глядели веселые стеклянные окна и двери. Сквозь чистые стекла мелькала позолота.

И вот почудилось, будто окно отворилось. Притаивши дух, не дрогнув и не спуская глаз с пруда, он, казалось, переселился в глубину его и видит; прежде выставился в окно белый локоть, потом выглянула приветливая головка с блестящими очами, тихо светившими сквозь темно-русые волны волос, и оперлась на локоть. И видит: она качает слегка головою, она машет, она усмехается. Сердце его вдруг забилось. Вода задрожала, и окно закрылось снова.

Тихо отошел он от пруда и взглянул на дом: мрачные ставни были открыты; стекла сияли при месяце. «Вот как мало нужно полагаться на людские толки, подумал он про себя, дом новенький; краски живы, как-будто сегодня он выкрашен. Тут живет кто-нибудь». И молча подошел он ближе; но в доме все было тихо. Сильно и звучно перекликались блистательные песни соловьев, и когда они, казалось, умирали в томлении и неге, слышался шелест и трещание кузнечиков или гудение болотной птицы, ударявшей скользким носом своим в широкое водное зеркало. Какую-то сладкую тишину и раздолье ощутил Левко в своем сердце. Настроив бандуру, заиграл он и запел:

Ой, ты, мисяцю, мий, мисяченьку!
И ты, зоре ясна!
Ой, свистить там по подворью,
Де дивчина красна.

Окно тихо отворилось, и та же самая головка, которой отражение видел он в пруде, выглянула, внимательно прислушиваясь к песне. Длинные ресницы ее были полуопущены на глаза. Вся она была бледна, как полотно, как блеск месяца; но как чудна, как прекрасна! Она засмеялась!.. Левко вздрогнул. «Спой мне, молодой казак, какую-нибудь песню!» тихо молвила она, наклонив свою голову и опустив совсем густые ресницы. «Какую же тебе песню спеть, моя ясная панночка?» Слезы тихо покатились по бледному лицу ее. «Парубок, говорила она, и что-то неизъяснимо трогательное слышалось в ее речи, парубок, найди мне мою мачеху! Я ничего не пожалею для тебя. Я награжу тебя. Я тебя богато и роскошно награжу. У меня есть зарукавья, шитые шелком, кораллы, ожерелья. Я подарю тебе пояс, унизанный жемчугом. У меня золото есть... Парубок, найди мне мою мачеху! Она страшная ведьма: мне не было от нее покою на белом свете. Она мучила меня, заставляя работать, как простую мужичку. Посмотри на лицо: она вывела румянец своими нечистыми чарами со щек моих. Погляди на белую шею мою: они не смываются! они не смываются! они ни за что не смоются, эти синие пятна от железных когтей ее! Погляди на белые ноги мои: они много ходили, не по коврам только, — по песку горячему, по земле сырой, по колючему терновнику они ходили. А на очи мои посмотри, на очи: они не глядят от слез!.. Найди ее, парубок, найди мне мою мачеху!» Голос ее, который вдруг было возвысился, остановился. Ручьи слез покатились по бледному лицу. Какое-то тяжелое чувство, полное жалости и грусти, сперлось в груди парубка. «Я готов на все для тебя, моя панночка! сказал он в сердечном волнении, но как мне где ее найти?» — «Посмотри, посмотри! быстро говорила она, она здесь! она на берегу играет в хороводе между моими девушками и греется на месяце. Но она лукава и хитра. Она приняла на себя вид утопленницы; но я знаю, но я слышу, что она здесь. Мне тяжело, мне душно от нее. Я не могу через нее плавать легко и вольно, как

рыба. Я тону и падаю на дно, как ключ. Отыщи ее, парубок!» Левко посмотрел на берег: в тонком серебряном тумане мелькали девушки, легкие, как-будто тени, в белых, как убранный ландышами луг, рубашках; золотые ожерелья, монисты, дукаты блестели на их шеях; но они были бледны: тело их было как-будто сваяно из прозрачных облаков и светилось насквозь при серебряном месяце. Хоровод, играя, придвинулся ближе. Послышались голоса. «Давайте в ворона, давайте играть в ворона!» зашумели все, будто приречный тростник, тронутый в тихий час сумерек, воздушными устами ветра. «Кому же быть вороном?» Кинули жребий — и одна девушка вышла из толпы. Левко принялся разглядывать ее. Лицо, платье все на ней такое же, как и на других. Заметно только было, что она неохотно играла эту роль. Толпа вытянулась вереницею, она быстро перебегала от нападений хищного врага. «Нет, я не хочу быть вороном, сказала девушка, изнемогая от усталости, мне жалко отнимать цыплят у бедной матери!» — «Ты не ведьма!» — подумал Левко. «Кто же будет вороном?» Девушки снова собирались кинуть жребий. «Я буду вороном!» вызвалась одна из середины. Левко стал пристально вглядываться в лицо ей. Скоро и смело гналась она за вереницею и кидалась во все стороны, чтобы изловить свою жертву. Тут Левко стал замечать, что тело ее не так светилось, как у прочих: внутри его виднелось что-то черное. Вдруг раздался крик: ворон бросился на одну из вереницы, схватил ее, и Левко почудилось, будто у ней выпустились когти и на лице ее сверкнула злобная радость. «Ведьма!» — сказал он, вдруг указав на нее пальцами и обратившись к дому. Панночка засмеялась, и девушки с криком увели за собой представлявшую ворона. «Чем наградить тебя, парубок? Я знаю, тебе не золото нужно: ты любишь Ганну, но суровый отец мешает тебе жениться на ней. Он теперь не помешает: возьми, отдай ему эту записку...» Белая ручка протянулась, лицо ее както чудно засветилось и засияло. С непостижимым тре-

петом и томительным биением сердца схватил он записку и... проснулся.



По чарам эту майскую ночь, осыпанную лунным серебром, к которому примешивается какое-то странное упоительное сияние, можно сравнить с ночью из Вия: сон философа Хомы — его скок и полет с ведьмой. Эта ночь волшебнее пушкинской тихой украинской ночи, а по трепету она близка Лермонтову: «Выхожу один я на дорогу». Это почувствовал В. В. Розанов, сравнивая «смехача» Гоголя с Лермонтовым — демоном.

В этой ночи открывается тайна «Красной свитки»: за какое преступление выгнали чорта на землю?

Левко в личине чорта— «вывороченный дьявол» пожалел панночку-русалку, сотникову дочь: ее тоже мачеха-ведьма выгнала из дому.

В рассказе о панночке кошка, в которую обращается мачеха. Эта кошка Пульхерии Ивановны, вестник смерти.



Давно жил в этом доме сотник. У сотника была ясная панночка, белая, как снег. Сотникова жена давно уже умерла; задумал сотник жениться на другой. «Будешь ли ты меня нежить по-старому, батька, когда возьмешь другую жену?» — «Буду, моя дочка, еще крепче прежнего стану прижимать тебя к сердцу! Буду, моя дочка, еще ярче стану дарить серьги и монисты!» Привез сотник молодую жену в новый дом свой. Хороша была молодая жена; только так страшно взглянула на свою падчерицу, что та вскрикнула, ее увидев, и хоть бы слово во весь день сказала суровая мачеха. Настала ночь: ушел сотник с молодою женою в свою опочивальню; заперлась и белая панночка в своей светлице.

Горько сделалось ей: стала плакать. Глядит: страшная черная кошка крадется к ней: шерсть на ней горит, и железные когти стучат по полу. В

испуге вскочила она на лавку — кошка за нею; перепрыгнула на лежанку — кошка и туда, и вдруг бросилась к ней на шею и душит ее. С криком оторвав от себя, кинула ее на пол. Опять крадется страшная кошка. Тоска ее взяла. На стене висела отцовская сабля. Схватила ее и бряк по полу, — лапа с железными когтями отскочила и кошка с визгом пропала в темном углу.

Целый день не выходила из светлицы своей молодая жена; на третий день вышла с перевязанной рукой. Угадала бедная панночка, что мачеха ее ведьма, и что она ей перерубила руку.

На четвертый день приказал сотник своей дочке носить воду, мести хату, как простой мужичке, и не показываться в панские покои. Тяжело было бедняжке, да нечего делать: стала выполнять отцовскую волю. На пятый день выгнал сотник свою дочку босую из дому и куска хлеба не дал на дорогу. Тогда только зарыдала панночка, закрыв руками белое лицо свое: «Погубил ты, батька, родную дочку свою! Погубила ведьма грешную душу твою! Прости тебя Бог; а мне, несчастной, видно, не велит Он жить на белом свете». И вон, гляди сюда, подалее от дома, самый высокий берег. С этого берега кинулась панночка в воду. И с той поры не стало ее на свете.

С той поры все утопленницы выходили, в лунную ночь, в панский сад греться на месяце, и сотникова дочка сделалась над ними главною. В одну ночь увидела она мачеху свою возле пруда, напала на нее и с криком утащила в воду. Но ведьма и тут нашлась: оборотилась под водою в одну из утопленниц, и через то ушла от плети из зеленого тростника, которою хотели ее бить утопленницы.

Панночка собирает всякую ночь утопленниц и заглядывает по одиночке каждой в лицо, стараясь узнать, которая из них ведьма, но до сих пор не узнала. И если попадется из людей кто, тотчас заставляет его угадывать: но не грозит утопить в воде.

V

ЛУННЫЙ ПОЛЕТ

Сон философа Хомы Брута, Вий и сон кузнеца Вакулы, Ночь перед Рождеством

1

Панночка Луна-Астарта голубым лучом проникает, через плетеные стены, в хлев. Она появляется вдруг в образе старухи, она ловит лучами(ее руки — лучи), а блеском очаровывает свою жертву философа-кентавра. Месяц стареет и молодеет, и она примет образ русалки, отраженная в лунном призрачном море.

«Полет» словесно представлен: на сверкающем молодом месяце звенят голубые колокольчики-голос-стон панночки. Этот лунный полет пример искусства прозы.

Искусство — пламень жизни, но и работа. Искусство — мысль, воображение и сердце.

«Если бы вы знали, говорит Гоголь, окончив Вия, какие со мной происходили страшные перевороты, как сильно растерзано все внутри меня. Сколько я пережег, сколько перестрадал».

Вий написан в 1833.

Тургеневские «Призраки» призрачны после «Вия»: не запоминаются.



Старуха разместила бурсаков: ритора положила в хате, богослова заперла в пустую камору, философу отвела тоже пустой овечий хлев. Философ, оставшись один, в одну минуту съел карася, осмотрел плетеные стены хлева, толкнул ногою в морду просунувшуюся из другого хлева любопытную свинью и *поворотился на правый бок, чтобы заснуть мертвецки.*

Вдруг низенькая дверь отворилась, и старуха, нагнувшись, вошла в хлев. «А что, бабуся, чего тебе нуж-

но?» — сказал философ. Но старуха шла прямо к нему с распростертыми руками. «Эге, ге! подумал философ, только нет, голубушка, устарела!» Он отодвинулся немного подальше, но старуха, без церемонии, опять подошла к нему. «Слушай, бабуся! сказал философ, теперь пост; а я такой человек, что и за тысячу золотых не захочу оскоромиться». Но старуха раздвинула руки и ловила его, не говоря ни слова. Философу сделалось с т р а ш н о, особенно, когда он заметил, что г л а з а е е с в е р к н у л и каким-то необыкновенным блеском. «Бабуся! что ты. Ступай себе с Богом!» закричал он. Но старуха не говорила ни слова и хватала его руками. Он вскочил на ноги, с намерением бежать; но старуха стала в дверях, вперила на него сверкающие глаза и снова начала подходить к нему. Философ хотел оттолкнуть ее руками, но к удивлению, заметил, что р у к и е г о н е м о г у т п р и п о д н я т ь с я, н о г и н е д в и г а л и с ь; и он с ужасом увидел, что даже г о л о с н е з в у ч а л из уст его; с л о в а б е з з в у к а шевелились на губах. Он слышал только, как бьется его сердце; он видел, как старуха подошла к нему, сложила ему руки, нагнула ему голову, вскочила с быстротою кошки к нему на спину, ударила его метлою по боку, и он подпрыгивая, как верховой конь, понес ее на плечах своих. Все это случилось так быстро, что философ едва мог опомниться и схватил обеими руками себя за колени, желая удержать ноги, но они, к величайшему изумлению его, подымались против воли и производили скачки быстрее черкесского бегуна. Когда уже минули они хутор и перед ними открылась ровная лощина, а в стороне потянулся черный, как уголь, лес, тогда только сказал он сам себе: «Эге, да это ведьма!»

Обращенный месячный серп светлел на небе. Робкое полночное сияние, как сквозное покрывало, ложилось легко и дымится по земле. Леса, луга, небо, долины — все, казалось, как-будто спит с открытыми глазами; в е т е р х о т ь б ы р а з в с п о р х н у л г д е - н и б у д ь; в ночной свежести было что-то влаж-

но-теплое; тени от дерев и кустов, как кометы, острыми клинами падали на отлогую равнину: такая была ночь, когда философ Хома Брут скакал с непонятным всадником на спине. Он чувствовал какое-то томительное, неприятное и вместе сладкое чувство, подступавшее к его сердцу. Он опустил голову вниз и видел, что трава, бывшая почти под ногами его, казалось, росла глубоко и далеко, и что сверх ее находилась прозрачная, как горный ключ, вода, и трава казалась дном какого-то светлого, прозрачного до самой глубины моря: он видел ясно, как он отражался в нем вместе с сидевшей на спине старухою. Он видел, как вместо месяца светило там какое-то солнце; он слышал, как голубые колокольчики, наклоняя свои головки, звенели; он видел, как из-за осоки выплывала русалка, мелькает спина и нога, выпуклая, упругая, вся созданная из блеска и трепета. Она оборотилась к нему — и ее лицо, с глазами, светлыми, сверкающими, острыми, с пением вторгавшимся в душу, уже приближалось к нему, уже было на поверхности и, задрожав сверкающим смехом, удалялось; и вот она опрокинулась на спину — и облачные перси ее, матовые, как фарфор непокрытый глазурью, просвечивали перед солнцем по краям своей белой, эластически нежной окружности. Вода, ввиде маленьких пузырьков, как бисер, обсыпала их. Она вся дрожит и смеется в воде. Видит ли он это или не видит? Наяву ли это или снится? Но там что? ветер или музыка? звенит, звенит и вьется, и подступает, и вонзается в душу какою-то нестерпимою трелью... «Что это?» думал философ Хома Брут, глядя вниз, несясь во всю прыть. Пот катился с него градом. Он чувствовал бесовски-сладкое чувство, он чувствовал какое-то пронизающее, какое-то томительно-страшное наслаждение. Ему часто казалось, как-будто сердце уже не было у него, и он со страхом хватался за него рукою. Изнеможенный, растерянный, он начал припоминать все, какие только знал, молитвы. Он перебрал все заклятия против духов, и вдруг почувствовал какое-то освежение; чувствовал, что шаг его начинает становиться ленивее, ведьма

как-то слабее держалась на спине его, густая трава касалась его, и уж он не видел в ней ничего необыкновенного. Светлый серп светил на небе.

«Хорошо же!» подумал про себя философ Хома и начал вслух произносить заклятия. Наконец, с быстротою молнии выпрыгнул из-под старухи и вскочил в свою очередь к ней на спину. Старуха мелким дробным шагом побежала так быстро, что всадник едва мог перевесть дух свой. Земля чуть мелькала под ним; все было ясно при месячном, хоть и неполном, свете; долины были гладки; но все от быстроты мелькало неясно и сбивчиво в его глазах. Он схватил лежавшее на дороге полено и начал им со всех сил колотить старуху. Дикие вопли издала она; сначала были они сердиты и угрожающи, потом становились слабее, приятнее, чище, и потом уже тихо, едва звенели, как тонкие серебряные колокольчики, и заронялись ему в душу; и невольно мелькнула мысль, точно ли это старуха? «Ох, не могу больше!» произнесла она в изнеможении и упала на землю. Он стал на ноги и посмотрел ей в очи (рассвет загорался, и блестели золотые главы вдали киевских церквей); перед ним лежала красавица с растрепанною роскошною косою, с длинными, как стрелы, ресницами. Бесчувственно отбросила она на обе стороны белые нагие руки и стонала, возведя кверху очи, полные слез.

Затрепетал, как древесный лист, Хома: жалость и какое-то странное волнение, и робость, неведомые ему самому, овладели им. Он пустился бежать во весь дух. Дорогой билось беспокойно его сердце, и никак не мог он истолковать себе, что за странное новое чувство им овладело. Он уже не хотел более итти на хутор и спешил в Киев, раздумывая всю дорогу о таком непонятном происшествии.

2

В Тысяча и одной ночи в рассказе о Абу-Мухамед-лентяе описан полет:

«Марид полетел со мной по воздуху и земля скрылась от нас. И я увидел звезды, подобные твердо-стоящей герани и

услышал славословие ангелов на небе. И когда я так летел, вдруг направился ко мне человек в зеленой одежде курдов со светящимся мечом и в руках у него был дротик, от которого летели искры».

Наваждением Пацюка набожный Вакула летит на чорте. На мариде или на чорте, на небесах все та же «дрянь», как и на земле: зеленое курдов и метла возвращавшаяся порожнем. Воздух в легком серебряном тумане прозрачен, серебро наваждений.

Сон был очень крепкий: зарывшись в сено, Вакула проспал до обеда.



> Сначало страшно показалось Вакуле, особенно, когда поднялся он от земли на такую высоту, что ничего уже не мог видеть внизу, и пролетал, как муха, под самым месяцем, так что, если бы не наклонился немного, то зацепил бы его шапкою. Однако ж, немного спустя, он ободрился и уже стал подшучивать над чортом. (Его забавляло до крайности, как чорт чихал и кашлял, когда он снимал с шеи кипарисный крестик и подносил к нему. Нарочно поднимал он руку почесать голову, а чорт, думая, что его собираются крестить, летел еще быстрее). Все было светло в вышине. *Воздух, в легком, серебряном тумане*, был прозрачен. Все было видно, и даже можно было заметить, как вихрем пронесся мимо их, *сидя в горшке, колдун*; как звезды, собравшись в кучу, играли в жмурки; как клубился в стороне, облаком, целый рой духов; как плясавший при месяце *чорт снял шапку*, увидев кузнеца, скачущего верхом; как летела, возвращавшаяся назад метла, на которой, видно, только-что съездила, куда нужно, ведьма. Много *еще дряни встретили они*. Все, видя кузнеца, на минуту останавливались поглядеть на него, и потом снова неслась дальше и продолжала свое; кузнец все летел, и вдруг заблестел перед ним Петербург, весь в огне. — — — Чорт, перелетев через шлагбаум, оборотил-

ся в коня, и кузнец увидел себя на лихом бегуне среди улицы.

VI

КРЫСЫ

Сон городничего, Ревизор

«Две черные крысы неестественной величины: пришли, понюхали и прочь пошли».

Все дело в «неестественной величине» и молчании. Скажи крысы хоть слово, огрызнись, все было бы по другому. В этом природа сна: неестественно и неожиданно.

В «Страшной мести»: тонкие сухие руки с длинными когтями, поднявшись из-за деревьев, затряслись и пропали.

Эти руки, что крысы, надвигающаяся беда.

Сны в два слова самые пронзительные. Я думаю, городничий до сих пор вспоминает крыс, как каждый из нас, прочитав «Ревизора».

«Ревизора» только и можно читать, а не смотреть. Скучнее пьесы я не знаю. И пусть комическими положениями сверкает каждая сцена, скука — ничем не разгонишь. Такое чувство у меня с детства, когда нас гоняли на Ревизора. И смешно, да чего-то не смеется.

Могу еще сравнить: школьный долбеж «Слова о полку Игореве». Это была не скука, а набивная скучища. Учителя говорили: замечательно, а не один не знал древне-русского, да и кто это знает. Темные русские закорючки, пронизанные церковно-славянскими «рокотаху», да тут, при всем моем издетства любопытстве ко всему словесно-необычному, потеряешь всякую охоту. Одно я почувствовал, какая у нас словесная «классическая» вода и что можно по-русски выражаться не прудоня.

Чтобы оценить «Слово о полку Игореве» надо прежде всего

словарь. Потом орусить чуждые русскому, напяленные на нас церковно-славянские формы. А Ревизора надо научиться читать.

С легкой руки Пушкина пошло о Гоголе: смешно. Ну, что смешного в «Вечерах»? Или для каждого времени свое смешное? Смешно, как я заметил, всякое «без-образие» — перевернутость. Но какая перевернутость в «Ревизоре»?

После постановки «Ревизора» Гоголь покинул Россию — «в чужих краях разогнать свою тоску». А на современную постановку, чем бы он ответил?

При игре ритм рассказа нарушен: слово только матерьял; в игре свой ритм. И то, что видишь, читая, никогда не увидишь, глядя на сцену. Книга одно, театр другое. И Гоголь напрасно так огорчился.

В «Ревизоре» действуют живые люди. Пусть после смерти все сожжется и останется зола и больше ничего, а имя перейдет в «заупокой» или в хозяйственный перечень «мертвых душ», но все они, пока живы, не воздушные, не заводные куклы, не дрыгающие марионетки.

Хороших людей на свете больше, чем это принято думать. И с тем же убеждением скажу, Хлестаковых больше на свете, чем это предполагают. И слава Богу, без Хлестакова заскучаешь и зачахнешь.

Хлестаков это сама мечта — чистая мечта, уверенная и несомненная. Небывшее и невозможное видится как на самом деле, как осязаемая вещь.

И в такой мысленной кутерьме поток слов — слова перегоняют мысль: «словесно все вдруг и для тебя неожиданно». Без языка Хлестаков немыслим, но и не всему речистому под язык.

Я слышал М. А. Чехова, его чтение Хлестакова и подумал: «вот бы Гоголю!» А потом смотрел, как Чехов играл пьяного Хлестакова. Гоголь, конечно, выбрал бы театр: какое разочарование!

Но как же играть по другому: актер следует указаниям автора: Хлестаков напился.

Прием Гоголя: чтобы вывернуть человека надо поднять температуру, или водкой или страхом. И достигает цели. Но стоит перевести из книги на театр, и все пропало.

VII

СКАЗКА

Сон деда, «Пропавшая грамота» и возвращающийся сон бабки

1

Родина чудесных сказок сон.

Обычно сказка сновидений отдельный законченный рассказ без предисловия. Но есть среди чудесных такие, в которых рассказывается с самого начала, как оно было и что потом случилось.

В сказке «Клад», беру из моих «Сказок русского народа», так прямо и говорится: «присел Лоха отдохнуть и его разморило» и сначала как-будто ничего особенного не видит, мимо едет его товарищ Яков, и поехали оба горох есть, тут и пошла кутерьма.

Такая же сказка с предисловием рассказ деда из «Пропавшей грамоты». После того, как с соседнего воза серое, выказывавшее рога, обратилось в чудовище, и руки у деда окостенели и он повалился словно убитый, начинается сон-сказка: долго спал он и только под припеком поднялся. Так и бывает во сне: человек «проснулся» тут-то и жди сказку.

Вот и чудится ему, что из-за соседнего воза что-то серое выказывает рога. Тут глаза его начали смыкаться, так что принужден он был ежеминутно протирать их кулаком и промывать оставшейся водкой. Но как скоро немного прояснялись они, все пропадало. Наконец, мало погодя, опять показывается из-под воза чудище. Дед вытаращил глаза, сколько мог; но проклятая дремота все туманила перед ним; руки его окостенели, голова скатилась, и крепкий сон схватил его так, что он повалился, словно убитый.

> Долго спал дед, и, как припекло порядочно уже солнце его выбритую макушку, тогда только схватился он на ноги. Потянувшись раза два и почесав спину, за-

метил он, что возов стояло уже не так много, как с вечера. Чумаки, видно, потянулись еще до света. К своим — казак спит, а з а п о р о ж ц а н е т. Выспрашивать — никто знать не знает; одна только верхняя свитка лежала на том месте. С т р а х и раздумье взяло деда. Пошел посмотреть коней — ни с в о е г о, ни з а п о р о ж с к о г о. Что б это значило? Положим, запорожца взяла нечистая сила, кто же коней? Сообразя, дед заключил, что, верно, чорт приходил пешком, а как до пекла не близко, то и стянул его коня. — — — Только хватился за шапку — и ш а п к и н е т. Всплеснул руками дед, как вспомнил, что вчера еще п о м е н я л и с ь они на время с з а п о р о ж ц е м. Кому больше утащить, как не нечистому? — — — Что делать? Кинулся достать чужого ума. — — — Чумаки долго думали, подперши батоганами подбородки свои, крутили головами и сказали, что не слышали такого дива на крещеном свете, чтобы гетьманскую грамоту утащил чорт. — — — Один только шинкарь сидел молча. Дед и подступил к нему. Уже когда молчит человек, то, верно, зашиб много умом.

«Я научу тебя, как найти грамоту, сказал шинкарь, отводя его в сторону. У деда и на сердце отлегло. Близко шинка будет поворот направо в лес. Только станет в поле примеркать, чтобы ты был уже наготове. В лесу живут ц ы г а н ы и выходят из нор своих ковать железо в такую ночь, в какую одни ведьмы ездят на своих кочергах. Чем о н и п р о м ы ш л я ю т н а с а м о м д е л е, з н а т ь т е б е н е ч е г о. Много будет стуку по лесу, только ты не иди в те стороны, откуда заслышишь стук; а будет перед тобой малая дорожка, мимо обожженного дерева: дорожкой этой иди, иди, иди... Станет тебя терновник царапать, густой орешник заслонит дорогу — ты все иди; и как придешь к небольшой речке, тогда только можешь остановиться. Там и увидишь, кого нужно. Да не забудь набрать в карманы того, для чего и карманы сделаны» — — — Дед был человек — не то, чтобы из трусливого десятка; бывало встретит волка, так и хватает

прямо за хвост... Однако ж, что-то подирало его по коже, когда вступил он в такую глухую ночь в лес. Хоть бы звездочка на небе. Темно и глухо, как в винном подвале. — — — Так все так, как было ему говорено; нет, не обманул шинкарь. Однако ж, не совсем весело было продираться через колючие кусты: еще отроду не видал он, чтобы проклятые шипы и сучья так больно царапались: почти на каждом шагу забирало его вскрикнуть. — — — Долго стоял дед у берега, посматривая на все стороны. На другом берегу горит огонь и кажется, вот-вот готовится погаснуть, и снова отсвечивает в речке. — — — Теперь только разглядел он, что возле огня сидели люди и такие смазливые рожи, что в другое время, Бог знает, чего бы не дал, лишь бы ускользнуть от этого знакомства. Вот дед и отвесил им поклон, мало не в пояс: «Помогай Бог вам, добрые люди!» Хоть бы один кивнул головой: сидят да молчат, да чего-то сыплют в огонь. Видя одно место незанятым, дед, без всяких околичностей, сел и сам. Смазливые рожи — ничего; ничего и дед. Долго сидели молча. Деду уже и прискучило; давай шарить в кармане, вынул люльку, посмотрел вокруг — ни один не глядит на него. «Уже, добродейство, будьте ласковы: как бы так, чтобы, примерно сказать, того... чтобы примерно сказать, и себя не забыть, да и вас не обидеть — люлька-то у меня есть, да того, чем бы зажечь ее, чортма (не имеется)!» И на эту речь хоть бы слово; только одна рожа сунула горячую головню прямехонько деду в лоб, так что, если бы он немного не посторонился, то, статься может, распрощался бы навеки с одним глазом. Видя, наконец, что время даром проходит, решился — будет ли слушать нечистое племя или нет — рассказать дело. Рожи и уши навострили, и лапы протянули. Дед догадался, забрал в горсть все бывшие с ним деньги и кинул, словно собакам, им в середину. Как только кинул он деньги, все перед ним переменилось, земля задрожала и как уже, — он и сам рассказать не умел, — попал чуть ли не в самое пекло.

I. «Батюшки мои!» ахнул дед, разглядев хорошенько. Что за чудища! рожи на роже, как говорится, не видно. Ведьм такая гибель, как случается иногда на Рождество выпадет снегу: разряжены, размазаны, словно панночки на ярмарке. И все, сколько было их там, как хмельные, отплясывали какого-то чертовского трепака, пыль подняли, Боже упаси, какую. Дрожь бы проняла крещеного человека при одном виде, как высоко скакало бесовское племя. На деда, несмотря на весь страх, смех напал, когда увидел, как черти с собачьими мордами, на немецких ножках, вертя хвостами, увивались около ведьм, будто парни около красных девушек, а музыканты тузили себя в щеки кулаками, словно в бубны, и свистали носами, как в валторны. Только завидели деда — и турнули к нему ордою. Свиные, собачьи, козлиные, дрофиные, лошадиные рыла — все повытягивались, и вот так и лезут целоваться. Плюнул дед, такая мерзость напала.

II. Наконец, схватили его и посадили за стол, длиною, может, с дорогу от Конотопа до Батурина. «Ну, это еще не совсем худо», — подумал дед, завидев на столе свинину, колбасы, крошеный с капустой лук и много всяких сластей, — «видно, дьявольская сволочь не держит постов». Дед-таки, не мешает вам знать, не упускал при случае перехватить того-сего на зубы. Едал, покойник, аппетитно, и потому не пускаясь в рассказы, придвинул к себе миску с нарезанным салом и окорок ветчины, взял вилку, мало чем поменьше тех вил, которыми мужик берет сено, захватил ею самый увесистый кусок, подставил корку хлеба — и, глядь, отправил в чужой рот, вот-вот возле самых ушей, и слышно даже, как чья-то морда жует и щелкает зубами на весь стол. Дед ничего; схватил другой кусок и вот, кажись, и по губам зацепил, только опять не в свое горло. В третий раз — снова мимо. Взбеленился дед: позабыл и страх, и в чьих лапах находится он, прискочил к ведьмам: «что вы, Иродово племя, вздумали смеяться, что ли, надо мной? Если не отдадите,

сейчас же, моей казацкой шапки, то будь я католик, когда не переворочу свиных рыл ваших на затылок». Не успел он докончить последних слов, как все чудища выскалили зубы и подняли такой смех, что у деда на душе захолонуло. «Ладно» — провизжала одна из ведьм, которую дед почел за старшую над всеми, потому личина у нее была чуть ли еще не красивее всех, «шапку отдам тебе, только не прежде, пока сыграешь с нами три раза в дурня!»

III. Что прикажешь делать! Казаку сесть с бабами в дурня! Дед отпираться, отпираться, наконец, сел. Принесли карты, замасленные какими только у нас поповны гадают про женихов. «Слушай же! залаяла ведьма в другой раз, если хоть раз выиграешь — твоя шапка; когда же все три раза останешься дурнем, то не прогневайся, не только шапки, может, и света больше не увидишь!» — «Сдавай, сдавай, хрычовка! Что будет, то будет». Вот и карты розданы. Взял дед свои в руки — смотреть не хочется, такая дрянь: хоть бы на смех один козырь. Из масти десятка самая старшая, пар даже нет; а ведьма все подваливает пятериками. Пришлось остаться дурнем. Только что дед успел остаться дурнем, и со всех сторон заржали, залаяли, захрюкали морды: «дурень, дурень, дурень!» — «Чтоб вы перелопались, дьявольское племя!» закричал дед, затыкая пальцем себе уши. «Ну, думает, ведьма подтасовала, теперь я сам буду сдавать». Сдал, засветил козыря; поглядел в карты: масть хоть куда, козыри есть. И сначала дело шло, как нельзя лучше; только ведьма — пятерик с королями. У деда в руках одни козыри. Не думая, не гадая долго, хвать королей всех по усам козырями! «Ге, ге! да это не по-казацки! А чем ты кроешь, земляк?» — «Как чем? Козырями?» — «Может быть, по вашему это и козыри, только по нашему — нет!» Глядь в самом деле простая масть. Что за дьявольщина! Пришлось в другой раз быть дурнем, а чертанье пошло снова драть горло: «дурень! дурень!» так что стол дрожал и карты прыгали по столу. Дед разгорячился; сдал

в последний. Опять идет ладно. Ведьма опять пятерик; дед покрыл и набрал из колоды полную руку козырей. «Козырь!» вскричал он, ударив по столу картою так, что ее свернуло коробом; та, не говоря ни слова, покрыла восьмеркою масти. «А чем ты, старый дьявол, бьешь?» Ведьма подняла карту; под нею была простая шестерка. «Вишь, бесовское обморачиванье!» — сказал дед и с досады хватил кулаком, что силы по столу; у деда, как нарочно, на ту пору пары. Стал набирать карты из колоды, только мочи нет; дрянь такая лезет, что дед и руки опустил. В колоде ни одной карты. Пошел уж так, не глядя, простою шестеркою; ведьма приняла. «Вот тебе на! Это что? Э, э! верно, что-нибудь да не так». Вот дед карты потихоньку под стол и перекрестил; глядь — у него на руках туз, король, валет козырей, а он вместо шестерки спустил кралю. «Ну, дурень же я был! Король козырей! Что! приняла? А? кошачье отродье! А туза не хочешь! Туз! валет!..» Гром пошел по пеклу; на ведьму напали корчи, и откуда ни возьмись, шапка бух деду прямехонько в лицо. «Нет, этого мало! закричал дед, прихрабрившись и надев шапку, — если сейчас не станет передо мною молодецкий конь мой, то вот, убей меня гром на этом самом нечистом месте, когда я не перекрещу своим крестом всех вас!» и уж было и руку поднял, как загремели перед ним конские кости. «Вот тебе конь твой!» Заплакал бедняга, глядя на них, что дитя неразумное. Жаль старого товарища. «Дайте же мне какого-нибудь коня, выбраться из гнезда вашего!» Чорт хлопнул арапником — конь-огонь, взвился под ним, и дед, что птица, вынесся наверх.

IV. Страх, однако ж, напал на него посреди дороги, когда конь, не слушаясь ни крику, ни поводов, скакал через провалы и болота. В каких местах он ни был, так дрожь забирала при одних рассказах. Глянул как-то себе под ноги — и пуще перепугался: пропасть! крутизна страшная! А сатанинскому животному и нужды нет: прямо через нее. Дед держаться: не тут-то было. Через

пни, через кочки полетел стремглав в провал и так хватился на дне его о землю, что, кажись, и дух вышибло. По крайней мере, что делалось с ним в то время, ничего не помнил; и как очнулся немного и осмотрелся, то уже рассвело совсем: перед ним мелькали знакомые места и он лежал на крыше своей хаты.

2

А в то время как дед куралесил с чертями, у бабки был свой морок.

«Бабка сидит, заснув, перед гребнем, держит в руках веретено и сонная подпрыгивает на лавке».

Ей снилось, что «печь ездила по хате, выгоняя вон лопатою горшки, лоханки».

И что удивительно, «бабке ровно через каждый год и именно в то самое время, делалось такое диво, что танцуется, бывало, да и только. За что ни примется, ноги затевают свое, и вот так и дергает пуститься вприсядку». Возвращающийся сон.

VIII

ВЕДЬМЫ-БЛОХИ

Семь снов Гоголя: Шпонька, Портрет, Страшная месть, Майская ночь, Вий, Ревизор, Пропавшая грамота, из этого морока снов сны Достоевского, Толстого, Тургенева.

И Достоевскому, и Толстому, и Тургеневу снилось, но каждый из них невольно вспоминал сон Гоголя: литература заразительна.

Сон Ноздрева особенный и остается вне подражания: никакой заоблачной «Кафки», ни мороки, нет и окультного Новалиса и кабаллистического Нерваля, а самая реальнейшая «мерзость»: «меня выпороли».

Гоголевский прием: поднять температуру, иначе не заговорит «брудастое» нутро Ноздрева. За обедом пили «смесь бургу-

ньён и шампаньён», рябиновку на вкус сливянки, а дух сивухи и с переменным именем бальзам — и во рту после вчерашнего точно эскадрон переночевал. Кроме выпитого надрыв уломать Чичикова согласиться на обмен с придачей денег за души и разочарование: Чичиков изрекал истины «всему есть граница», «бесполезно приобретать вещь, решительно ненужную», «не следует подвергаться неизвестности» — Чичиков оказывался мелким мошенником, но под стать всем губернским, а не во всей форме, как вообразил Ноздрев, и никакого размаха поручика Кувшинникова и штабс-ротмистра Поцелуева — «кутил во всей форме», которые могут и в гальбик и банчишку и во что хочешь. Кувшинников и Поцелуев — единственные, с кем считается Ноздрев, который обуян не только по своей «комкой» природе неугомонным бесом, но и демоном совершенства, откуда его страсть преувеличивать и рассвечать — ведь он нарочно кормит волчонка сырым мясом, ему хочется, чтобы волчонок был с о в е р ш е н н ы м зверем.

В жизни или счастье, или фальш, или искусство. У Ноздрева ни того, ни другого: какое счастье во власти проклятой девятки или семерки, и не плутуя, играть он не умеет, а сочинитель он неудачный. И на поверку выходит: он дрянь при всем своем желании совершенства. Он это хорошо знает и скажет себе тайно, но слышать от другого про себя «дрянь» ему невыносимо, готов кусаться. (Ноздрев — мордаш).

На ярмарке помещик Максимов во время игры поймал его на сочинительстве, как на утро Чичиков при игре в шашки и назвал его в лицо «дрянь», как скажет Чичиков. Чичикова он кликнет крепостных дураков бить — «бей его!» — а помещика Максимова — выпорол: держали «совершенство»: Поцелуев и Кувшинников. Об этом Ноздрев забыл, очень нарезался.

После ужина в досаде на неудачу, он даже сказал Чичикову: «вот тебе постель, не хочу и доброй ночи желать тебе», он лег и заснул.

В городе уже имелось постановление: Ноздрев предается суду «за нанесение помещику Максимову личной обиды розгами в пьяном виде». Это постановление исправник утром в самый разгар, когда Чичиков, уличив Ноздрева в плутне, всем своим отказом продолжать игру в шашки напомнит ему, что он «дрянь».

«А мне какая мерзость лезла всю ночь, гнусно рассказывать. Представь, снилось, меня высекли. Ей-ей! И вообрази кто? Вот ни за что не угадаешь! — штабс-ротмистр Поцелуев вместе с Кувшинниковым».

«Да, подумал Чичиков, хорошо бы, если б тебя отодрали наяву».

«Ей Богу! Да пребольно. Проснулся, чорт возьми, в самом деле что-то почесывается, — верно, ведьмы-блохи».

В это время исправник выехал из города на тройке: он напомнит забытый Ноздревым случай с Максимовым. И Чичиков, согласившись играть в шашки, сейчас выпорет Ноздрева и очень больно: «я дрянь?»

Ведьмы-блохи напустились на благовоспитанные части Ноздрева слепо — судьбой, чтоб вызвать этот вещий и карающий сон. И неожиданно: блохи кусали и прежде, он собирал их горстями, как в эту ночь Чичиков, и выпороли его не какая-нибудь дрянь, не из губернских, а единственные «славные» во всей форме кутилы Поцелуев и Кувшинников.



И долго еще определено мне чудной властью итти об руку с моими странными героями, озирать всю громадно-несущуюся жизнь озирать ее сквозь видимый миру смех и незримые, неведомые ему слезы.

ПРИРОДА ГОГОЛЯ

Из всех отзывов о Гоголе проникновеннее всех — В. В. Розанов: «никогда более страшного человека... подобия человеческого не приходило на нашу землю».

Розанов считал Гоголя за какого-то до-утробного скопца и всегда выражался с раздражением, но однажды сорвалось неожиданно добродушное: «кикимора!» Когда же стал писать и раздумывать и, высказав эту свою бесподобную мысль о «подобии», иллюстрируя ее, перегнул, — или сатанинское имя Гоголя — имя птицы, под видом которой, по богомильскому сказанию, является Сатанаил при сотворении земли, сбило и перепутало, — и Гоголь получился не Гоголь, а какой-то «басаврюк» «проклятая колдунья с черным пятном в душе, вся мертвая и вся ледяная, вся стеклянная и вся прозрачная..., в которой вообще нет ничего! Ничего!!!» («Опавшие листья», 1 короб) — —а на ничего и сказать нечего, ка-ка-я досада! «кикимору» забыл.

В русской музыке «кикимору» создал А. К. Лядов. Лядов знал существо — «подобие человеческого» и, отвечая на мысль Розанова, с какою ясностью открыл своей музыкой, как это все далеко от «ничего». Если бы только ничего...!



Медноликой северной ночью, когда в полночь солнце рвется и не может уйти, и свет не гаснет, а рдеет, вышел месяц — «ухо ночи», какой тяжелый огромный! медной лунью залелеялись тени и вдруг — и откуда? — неутоленный клич рассек весеннюю буй.

Белой ночью как загудит в лесу и как! — отчаянно-безнадежно, нет, не мое это чувство — не человек вложил его в дремучий гинь.

Есть существа непохожие: лесовые, водяные, воздушные — в лесу, в реке, в воздухе. Это те, кто связан кровно с человеком. С кипучей тревогой, вдунутой в лесную душу, они рвутся из кру-

га — но в человека воплотиться навсегда заказано, а стать лесным чистым духом человечьи путы мешают.

★

Кикимора — от лесавки и человека. Существо и обычай ее — лешее, а мечта — человечья. И оттого-то ее озорное «ки-ки» огнем прорывает вопль человека: она никогда не сделается, как ее мать, лесавкой, и никогда не станет человеком.

— Гоголевская лирика в «Мертвых душах»! —

Кикимора — озорная.

Как-то шли мы в Петербурге с Шестовым по Караванной и разговаривали на философские темы (кому и как писать прошения о «вспомоществовании»). Был ясный осенний полдень. И вдруг сверху капнуло — прямо ему на шляпу. Посмотрели — что за диковина? — видим: птичье.

— Да это Кикимора.

— Конечно, Кикимора, кому-ж еще!

Кикимора шагу не ступит, чего-нибудь уж жди. И как возьмется озоровать, ну никакого нет угомона. И кажется, и во сне-то она что-нибудь выделывает, а не выделывает, так выдумывает — озора!

— Сцены поветового суда из повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем; Шинель —

Кикимора — существо доброе: зла не хочет — зла на уме не держит. А если что и выходит, ну, философу — Льву Шестову на шляпу попала! — это у ней не со зла.

Кикимора влечется к человеку.

Кикимора из всех лесных существ больше всех влечется к человеку. И если выходит что-то озорное, ее ли вина? И не игра ли это? — все ведь вертится около человечьей мечты! — подход к человеку? — и только у нас за озорство сходит.

Ки-ки-мора:
ки-ки-хи-хи — смех,
мора-мор-морана-мара-наваждение-чары.

Есть чары злые — и змея чарует!

Но есть — не от зла, не погубить, напротив — ведь Кикимора влечется к человеку. И нет никого чудней и смехотворней, и чары ее — смех.

— Эти чары — Гоголя.

Вы посмотрите, как сидит она где-нибудь на тоненькой жердинке — я видел ее однажды весенним ранним утром в Устьсысольске, где солнце не заходит, — какая мордочка умора! и какая вся... чистила себе копытце, помню, а в голове, я это видел по выражению лица, и выдумка и рой проказ.

Кипучая и легкая, она вся — скок и прыг — веретено.

Кикимора влечется к человеку. Но стать человеком ей никогда не дано. И не сойтись с человеком, как ее мать лесавка — с лешим сколько угодно, и будет от нее тысяча тысяч кикимор проказливых и чудных, весело? — Да-а.

— Русская литература зачарована Гоголем! —

Д-да! если бы ей только погасить в себе человечью мечту: стать человеком. А от этой мечты ей никуда не деться. И в этом ее судьба.

> — Гоголь с его мечтой о «живой душе» — о «настоящем человеке!» — но ни его подвиг и сама Святая Земля не открыла ему — а могла бы, да не открыла-б ему!

Вот почему в прыге и смехе Кикиморы — в танце «ки-ки» мне слышится неутоленное — трагические звуки — не лесной бездушный гул, а наша тоска. В самом слове «кикимора» —

ки-ки — мора

— трагедия —

смех, наваждение, рок.

В Сказаниях русского народа у Н. П. Сахарова есть стих о Кикиморе. Этот стих — тема для музыки А. К. Лядова, автора «Бабы-Яги» и «Кикиморы».

Живет-растет кикимора у кудесника в каменных горах,
с-утра-до-вечера тешит кикимору кот-баюн —
говорит сказки заморские.
С-вечера-до-бела-света качают кикимору
в хрустальчатой колыбельке.
Ровно через семь лет выростает кикимора:
тонешенька-чернешенька та кикимора,
а голова-то у ней малым-малешенька,
с наперсточек,
а туловище не спознать с соломинкой.

Стучит-гремит кикимора от-утра-до-вечера,
свистит-шипит кикимора с-вечера-до-полуночи;
с-полуночи-до-бела-света прядет кудель конопельную,
сучит пряжу пеньковую, снует основу шелковую —
зло на уме держит кикимора на весь люд честной.

Нет, что-то не так: у кудесника живет... только не Кикимора! — что-то тут спутано и не досказано. Но лад стиха как-раз: по-тайный. Говорила ли сама Кикимора или пожалевший ее сказал человек, только какое зло у Кикиморы? Нет, не то, не так... на одно мгновенье? как и человек на надчеловеческое — «задохнулось сердце» — —?

Кикимора — лесная, зачем ей попадать в каменные горы? Зеленый комочек — лесного ребеночка приютил у себя кто? да самый добрый из леших, конечно, Аука.

Ремез — из птиц первая, вьет гнездо лучше всех гнезд, а Аука дом строит лучше всех лешачьих домов, у него и хрустальчатая колыбелька найдется. И опять же затейный и большой сказочник — Аука. Конечно, Аука и приютил у себя на зиму лесного ребеночка обольщенной охотником лесавки.

А ходит за Кикиморой не кот-баюн — кот-баюн... тут никак не Гоголь, а Э. Т. А. Гоффман? — ходит за Кикиморой Скриплик: кому же, как не Скриплику и научить Кикимору всяким ки-ки, как учит он по весне птиц пению, жуков жунду, стрекоз рекозе, медвежат рыку, лисят лаю.

Скриплик баюкает Кикимору. Скриплик и человека баюкал, когда оленю или медведю подвешивали в лесу колыбель с дитем, Скриплик знает колыбельную человечью — а Кикиомра ведь человечья!

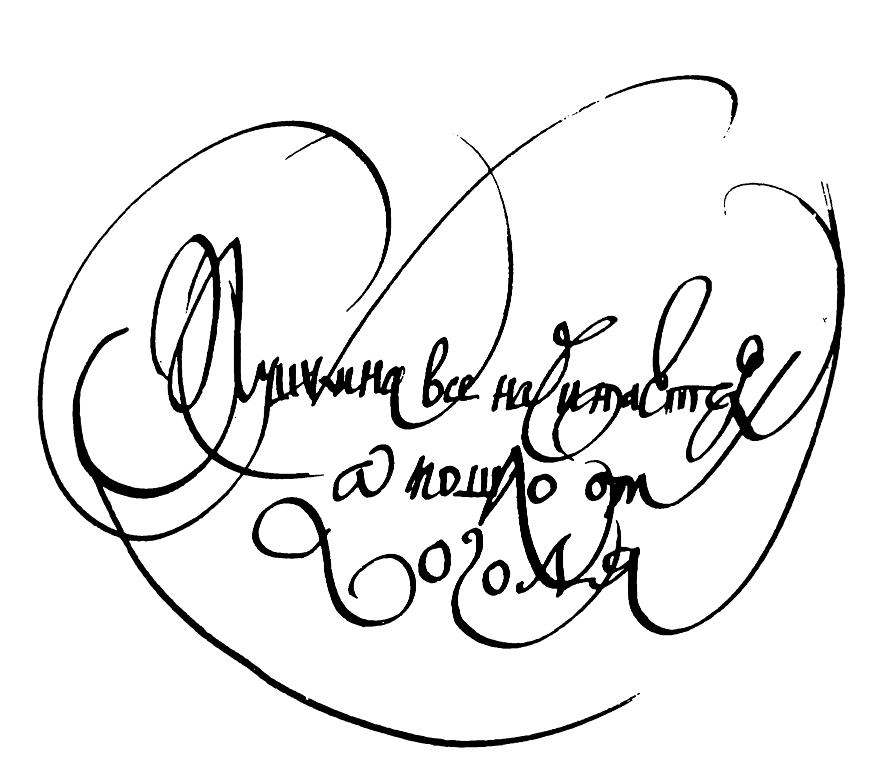
Первый весенний вей выманит Кикимору — гулять. И тут Лешак: жениться! — в лешачьем быту это моментально. Что ж? она готова — — но человек? и вот на мгновенье не узнать Кикиморы: она — как человек. А все-равно, от судьбы не уйти —

— ки-ки
— мор
— а!
— —
—

Музыка так и звучит и «лад» ее открывает больше, чем «склад» слов.

Лядов был добрый, во всяком случае он был далек от «зла на уме». В последние годы его жизни, он умер в самом начале войны, 1914 г., мне пришлось не мало говорить с ним о русской нечисти — о лесовых, водяных и воздушных — и я чувствовал, как ему чуждо злое, а как он радовался, когда я рассказал ему о Бабе-Яге и совсем не безобразной и старой, как это принято думать, а о молодой и ч*а*рой, какой представляется она «честному люду» в новолуние.

Э. Т. А. Гоффман — 1776-1822; Н. В. Гоголь — 1809-1852; В. В. Розанов — 1856-1919; А. К. Лядов — 1855-1914.


а пошло от Гоголя

МОРОЗНАЯ ТЬМА

ЖИВОЙ ВОДЫ

«Языку нашему надобно воли дать более — разумеется, сообразно с духом его — и мне ваша свобода более по сердцу, чем чопорная наша правильность».

С Пушкина все начинается, а пошло от Гоголя.

И это не учебная оскомина ума ленивого и нелюбытного, и не гоголевская сказка и не «двойная мысль» Достоевского, это истина — русская правда. Без Пушкина все бы мы околели, начиная с Гоголя до Чехова и с Чехова, — мы, «трудящиеся и обремененные».

По Гоголю Пушкин «охотник до смеха», а это тоже, что в его душе веселость духа, которая веселость зерно жизни и источник вдохновения: радость на белом свете жить и сказывать свою сказку. Радость духа не дикий гогот и не пустое балагурье, как и лунная молитва не безулыбная хмурь черствого сердца, а звучащая грусть человека быть среди людей на белом свете под властью своевольной судьбы. Огонь веселья и пламенность тоски: «горю — я существую». Пушкин пронизан огнем, и свет его веет над русской литературой.

Голос Пушкина звучен через всю историю литературы, им вдохновенную, и этот голос сказывается и в моем неотступном и упорном:

«Заговорит ли Россия по-русски?»

Едва ли кто еще, только Пушкин так остро почувствовал рабство нашей книжной речи: не с пуста ж и зря пушкинское: «русский язык у московских просвирен».

Великая Россия! Но почему же ей суждено выражаться по чужим иноземным указкам?

И это не моя блажь, а русская мысль Пушкина (а за Пушкиным Хомяков — 1853 г.) о живой воде: где ее искать и ею оживить захряслую русскую речь?

Как беден наш литературный словарь и какие округ пестрые луга слов, — ученые называют областными. Но дело не в слове, пусть без словаря, слова не заглохнут, сбережет корень, и не раз и не одна еще рука украсит венком Россию, и заимствованные с чужого звучат на русской земле по-русски. Дело не в словах, а в словесном ладе.

«Лад» — звучание души народа.

По складу речи различаешь: вон перс, там индей, гляди китай, а это немец, турка, француз, а тут англичанин. Для сло́в всегда найдется слово, а «лад» непереводим. В «ладе» имя.

Почему же русское легко перевести на любой язык?

Русский книжный лад, да что же тут русского? Мешанина: церковно-славянское, французское и немецкое.

Тут литературный недотепа оправдать свою безграмотность и успокоиться, мне тычет под нос ошибки Толстого и Достоевского, забывая, что Толстой и Достоевский своей вдохновенной изобразительностью достигают вершин Иезекииля. Или говоря обиняком: сколько ни проигрывай в рулетку, «Преступления и наказания» не сочинишь! Нет, зачем «великих», а возьмем наугад страницу русской прозы из нас, «трудящихся и обремененных».

Вот вам отчет: все правильно, ни одной грамматической ошибки, и запятые на месте: на глаз серо-пего, пальцам вязко, уху — «щи». Как распознать под такой причастной и деепричастной придаточной тянучкой природный лад живой русской речи: кратко и крепко?

И обвиноватить грех, и за что? Подумайте, втискивать мои горячие слова в чужие формы, да тут не то, что заподглаголишь, а и залопочешь, как до татар еще, сказывает летопись, — «чудь, весь и меря языка нема».



У на́с нет культуры слова, не было Буало. И единственное наше неписанное «Art Poétique», наша литературная совесть: Пушкин.

Гоголь, когда писал, не думал, будет ли это кому угодно и приятно, перед его глазами один образ — Пушкин.

Когда бы и для нас, на нашем диком поле, так чувствительна была эта совесть!

Сто пятьдесят с рождения Пушкина. 1949. Париж. Что слышно у нас о слове?

«Написано, говорят, коряво, но мысли есть», а это все равно, что «поет фальшиво, а не без голоса». «Да на кой чорт мне голос, коли от такого пения завоешь собакой!» Так было бы сказать, но памятью о Пушкине раздумываю: мысль выражается словом, но «поэмы пишутся не мыслями, а словами». Под этим Малларма подпишется Пушкин. Надобна непрерывная словесная работа уметь найти в себе слова и точно именовать мысли: в именах тайна и магия. Без слова — дикое поле, и звери ведь не без думы.

Чувство «поэзии» на диком поле не ночевало. И как по другому, когда «поэты» перелагают на «модерн»: один былины, другой единственную непереводимую прозу русского лада «житие Аввакума».

Построение слаженных слов — «уклад» заменен «как попало». Жизнь, как и сновидения, канитель, но канитель может быть изображена только очерченным образом, а не жижей. Музыкальные пушкинские композиции пошли насмарку.

А пушкинская тревога за нашу топорную книжную речь — да о каком еще русском ладе, о каких московских просвирнях, когда русская литература на мировой высоте!

Пушкин содрогнулся б.

Какая беда с нами стряслась и как оболванило!

Петр для России Александр Двурогий — «разум сибирской а ус сосостерской» — затеял огрозить военною силой и индустриализировать Московское государство по-европейскому, залил на Москве Красную площадь стрелецкою кровью и по крови дубинкой забил глубоко в землю природный лад русской речи.

Осьмнадцатый век никакой памяти. У Тредьяковского еще какие-то, как из сна, обрывки, а у Ломоносова не ищите.

Третий век, из поколения в поколение — да мы и думаем-то не по-русски, ладя слова по грамматике Грота, и со знаками препинания.

Книга только с намеком на русский лад отзовется единым всеобщим: «не понимаю!» А переводчики отказываются.

Для понятливости Афанасьев поправлял «Русские народные сказки», Забелин исправил «Урядник» царя Алексея Михайловича, а Карамзин в своей «Наталье, боярской дочери», повести из XVII-го века, прямо говорит: «тогдашнего языка не могли бы мы теперь и понимать».

Попугаи хранители старинных диалектов. Правда, в Петергофе при императрице Анее Ивановне не мало их напущено, по-русски «красные вороны». Но ведь это ж в Петергофе, а где еще слышно на русской земле «красная ворона»!



Стою, как в пустыне, и покликать не знай кого, на чужом не хочу, а своего нехватка.

Вдовые матушки, дьяконицы и причетницы, наши московские просвирни, хранительницы русского лада, все люди простые, и простой человек стесняется: «в речи неискусен». После Пушкина норовили по «господски» выражаться, а после Хомякова по «образованному».

Но кто это, и как возможно выкоренить душу народа — душа народа лад его речи? И пусть кровавая дубинка и века молчания, русскую душу под землю забей, сквозь землю, ан выйдет.

Русская словесная земля сберегла из веков русский лад. Беритесь за дьячьи и подьячьи грамоты, корпите над Писцовыми книгами, вникайте в документы Посольского Приказа и Судебные акты — живая речь обвиняемых и свидетелей.

Пушкинское пожелание простор стихам, а это то же, что и прозе, свобода языку и воля слову. Да не тычь в бока, не хлобучь головы чуждым грамматическим железом! А как озвучит слово живая вода! И вы еще увидите, не одни цветы, а и слова цветут.

ДАР ПУШКИНА

И с присвисточкой поет
При честном при всем народе
Во-саду-ли-в-огороде.

I. С Пушкина начинаются мои первые впечатления от словесного искусства. Хотя я и научился, но еще не читаю, а только слушаю: «Евгений Онегина», «Полтава», «Борис Годунов», «Сказка о царе Салтане». И сколько раз потом читал и всегда, как впервые, насторжа уши. И, читая, я понял, почему тогда я слушал, не проронив слова: мой слух был и моим воплощением — я чувствовал себя Татьяной, Марией, Самозванцем, Лебедью, Белкой — веретённым ритмом сказки; и я не только чувствовал. я вдыхал и ту природу — землю этих образов и ритма: Россия, русская речь. А еще позднее я сказал себе: я слушал и чувствовал, я воплощался в Татьяну, Марию, Самозванца, Лебедь, Белку под чарами слова; а эти чарующие слова я назову: «поэзия». Пушкин вошел в мою словесную культуру и стал для меня поэтической мерой.

II. Писать стихи — это еще не все, и вовсе не в стихах «поэт», который может сказаться одинаково и в прозе (в русской литературе: Гоголь). Поэт — от «поэзии»; с поэзией родятся, и нет такой поэтической науки, чтобы сделаться поэтом. Но обнаружить поэтический дар — без ремесла не обойтись. Пишущие стихами уже по самому способу своего словесного выражения вынуждены особенно внимательно подходить к слову, выбирать слова — слышать слово, а у китайцев все-равно, что и видеть, слышать и видеть отдельные слова и соотношения слов; из «как попало», а это в равной мере и для пишущих прозой, ничего путного не выходит. Кому, как не Пушкину, стать примером внимания к слову и работы над словом!

III. В ту пору, когда я еще не читал, а слушал, согнувшись над любимым рисованием, я услышал «Капитанскую дочку»: за чтением плакали — повторяющийся мотив: «прощайте!» —

плакала старуха-нянька и мой брат, музыкально настроенный, а меня занимало: «что дальше будет?» И когда я стал читать книги, «Повести Белкина» прочитались с тем же интересом, как прослушалась однажды «Капитанская дочка». А много позже, занимаясь словесным ремеслом, я взялся читать по-своему: я следил за словами, выговаривая и прислушиваясь; и у меня осталось: читаю «стилизованные рассказы». Но ведь Пушкин ни подо что не мастерил — значит, таков стиль современности Пушкина. Этот стиль через Пушкина обнаружится в «Герое нашего времени» у Лермонтова, но в более близкой нам форме, а от Лермонтова перейдет к «Казакам» Льва Толстого. Следя за словами и переговаривая, я читал «Повести», как впервые и с тем же любопытством: «что дальше?» Традиция пушкинской прозы не в словесном материале — я не нашел ничего от пушкинской поэзии, и слух не Пушкина; а вошедшая в обиход «ясность» ничего не открывает: «ясность», как и «темнота», — определения, и всегда приводятся потом литературными оценщиками по своему глазу и слуху; традиция Пушкина в построении рассказа — рассказ есть «рассказ»: занимательное времяпрепровождение, он может быть и нравоучительный и философский, но это неважно. Пушкин — конструктор и конструкции его — образцы.

IV. Сон, как литературный прием — без него по-русски не пишется: Гоголь, Погорельский, Вельтман, Одоевский, Лермонтов, Тургенев, Гончаров, Мельников-Печерский, Лесков. В снах не имеет значения, выдуманные они или приснившиеся, лишь бы имели сонное правдоподобие — «смысл» второй «бессмысленной» реальности, когда «существенность, уступая мечтаниям, сливается с ними в неясных видениях первосония». С Пушкина начинаются правдашные сны: сон Татьяны, с которым перекликнется Гоголь в «Пропавшей грамоте» и «Страшной мести, сон гробовщика Адриана Прохорова, сон Самозванца, сон Германа — на него отзовется Достоевский в «Преступлении и наказании», сон Гринева — на него отзовется Лев Толстой в «Анне Карениной».

V. Когда я читал богомильскче легенды о «Тивериадском море», мне вдруг представился Пушкин: я увидел его демоном — одним из тех, кто выведал тайну воплощения Света; с лили-

ей, поднявшись со дна моря и, пройдя небесные круги, он явился на землю — «и демоны убили его». Но слово — свет... его сияние хранит русская речь.

МОРОЗНАЯ ТЬМА

Редкое произведение русской литературы обходится без сна. И это говорит за кругозор и память. В снах не только сегодняшнее — обрывки дневных впечатлений, недосказанное и недодуманное; в снах и вчерашнее — засевшие неизгладимо события жизни и самое важное: кровь, уводящая в пражизнь; но в снах и завтрашнее — что в непрерывном безначальном потоке жизни отмечается как будущее, и что открыто через чутье зверям, а человеку предчувствием; в снах дается и познание, и сознание, и провидение; жизнь, изображаемая со снами, развертывается в века и до веку.

Сон в русской литературе — с библейских видений протопопа Аввакума, описанных в последнем Послании к царю Алексею Михайловичу, и «мутного» сна' Святослава в Слове о полку Игореве, Загоскин в Юрии Милославском вводит сон, как литературный прием, но сон Юрия, как сон Обломова у Гончарова, вне реальности сновидений: такое может и во сне присниться, но может и наяву представиться.

Сны, как особая действительность (существенность) посвоему закономерная, со своей последовательностью, но вне дневной бодрственной логичности, впервые появляются у Пушкина: «морозная тьма» Пушкина. И эта тьма завеет жутью Толстого и Достоевского, а через них заворожит поколения за границей русской земли до океана и за океан. Поэзия стихов Пушкина, как поэзия прозы Гоголя, звуча лишь по-русски, не передаваема; из переводов можно только догадываться и только чувствовать, но для русской литературы своим звучанием она озаряет. Имя Пушкина, как имя Гоголя, не может стать мировым подобно Данте, Шекспиру и Гете, но через свое озарение русского — через Толстого и Достоевского — безымянно входит в мировое — в путь

блистающего свода человеческого слова. Со светом поэзии от Пушкина идет и «морозная тьма» его снов — зловещее, ужас, угрызения, горечь, которые вскипят горчайшей тоской у Лермонтова, докатятся грустью до Некрасова и пронижут тревогой стих Блока, а в прозе отзовутся, как бунт и мятеж, у Толстого и Достоевского. Символисты, как Брюсов, а затем Кузмин, провозгласившие Пушкина литературным вождем, напомнили в годы общепризнанного литературного «как попало» и самодельщины о занимательных конструкциях пушкинских рассказов, в этом значении их «пушкинизма»; их собственные примеры в форме стилизации бесследны в русской прозе, и это как у Андрея Белого Гоголь сведенный им в его собственной словесности к перезвучанию гоголевского поэтического слова, но указание Андрея Белого на Гоголя, как на поэта в прозе, сгладившего грань между «стихом» и «прозой», имеет огромное значение; и разве не ясно, что для поэзии — все формы и нет особых форм. А от стихотворной риторики Маяковского, однажды в футуристическом манифесте «сбросившего Пушкина, Толстого и Достоевского с корабля современности», если что и сохранится, то лишь его площадные плакаты, овеянные зловещим Балдой Пушкина.

Сны, как вторая, всегда трепетная и не «безответная» реальность, с Пушкина займут необходимое место у Гоголя и Лермонтова, Толстого и Достоевского, Тургенева и Лескова. Мартын Задека, сонник которого держал в руках Пушкин, и до недавних пор, я помню из моего детства, ходовая на Москве книга, должен гордиться своими учениками, рассказывавшими о таких «бурях и ежах» — ему Задеке, в звездном колпаке волшебника, и в голову не приходило.



Шесть снов Пушкина: Сон Татьяны, сон Григория, сон Марьи Гавриловны, сон гробовщика Адриана Прохорова, сон Германа, сон Гринева. И каждому из этих снов будет отклик.

Сон Татьяны («Евгений Онегин») представляется как семь зеркальных отражений: 1) Снежная поляна и кипучий поток; 2) Взъерошенный медведь: 3) Погоня в лесу и в медвежьих лапах; 4) На пороге ведовского шалаша, подгля-

дывание в щелку: чудовища и среди них Онегин; 5) Приотворяет дверь, дуновение ветра, все встали, Онегин оттолкнул дверь, появление Татьяны среди чудовищ: «копыта, хоботы кривые, хвосты хохлатые, клыки, усы, кровавые языки, рога и пальцы костяные: «мое». 6) «Мое» — Онегина: в углу на шаткой скамейке и над нею Онегин «клонит голову свою к ней на плечо», появление Ленского и Ольги — «свет блеснул», Онегин хватает длинный нож — Ленский повержен (зарезан); 7) «Страшно тени сгустились, нестерпимый крик раздался, хижина шатнулась». Конец сна.

Этот семигранный зеркальный сон, под подушкой у Татьяны зеркальце, откликнется в семипоясном сне пана Данилы Страшной мести Гоголя: пан Данило уводит через окно свое глубочайшее единственное видение: душу Катерины, которую соблазняет отец, и которая видит свою, зарезанную отцом, мать, по тому же зрению, как Лермонтов, увидев себя убитым в долине Дагестана, видит, как где-то в Петербурге «одна из жен, увенчанных цветами», видит его лежащего в долине Дагестана: «и кровь лилась хладеющей струей». И в Войне и мире у Толстого вспоминается Татьянино зеркальце: Соня, гадающая на зеркале, ничего не видит и «вдруг отстранила то зеркало, которое она держала, и закрыла глаза рукой. Она сама не знала, как и вследствие чего у нее вырвался крик, когда она закрыла глаза рукой. И она невольно сказала: «видела его» — «вдруг вижу, что он лежит... веселое лицо и он обернулся ко мне...» И в эту минуту, как она говорила, ей самой казалось, что она видела то, что говорила. «Тут я не рассмотрела, что-то синее и красное...» И эта зеркальная выдумка Сони оказалась зловещей. Наитие, это «невольно», выдумка — одной откровенной природы со сновидением: судьба князя Андрея и судьба Ленского — сочинение Сони и сон Татьяны. А чудовище в шалаше у медвежьего кума: рогатый с собачьей мордой, петушья голова, бородатая ведьма, человеческий остов, хвостатый карла, полужуравль-полукот, рак на пауке, череп на гусиной шее, ветряная пляшущая мельница — отзовутся в Пропавшей грамоте Гоголя во сне деда, когда он попал чуть ли не в самое пекло, где «рожи на роже не видно, где ведьм такая гибель, как случается иногда на Рождество выпадает снегу, где черти с собачьими мордами на немецких ножках, где музыканты тузили

себя в щеки кулаками, словно в бубны и свистали носами, как волторны (Пушкинское: «лай, хохот, пенье, свист и хлоп, людская молвь и конский топ»), где, завидя деда, свиные, собачьи, козлиные, дрофиные, лошадиные рыла все повытягивались — и вот так и лезут целоваться», ржа, лая и хрюкая.

«Бесовское мечтание» Григория в Борисе Годунове с двумя сонными пробуждениями или сон в два погружения — « и три раза мне снился тот же сон»: по крутой лестнице взбирается на башню, с башни — Москва, что муравейник, на площади народ указывает на него со смехом — «и стыдно мне и страшно становилось и, падая стремглав, я пробуждался». Этот сон изображается с перевернутым рисунком: подъем-падение-подъем.

Такое же мечтание будет в Портрете Гоголя: те же пробуждения во сне — трехступенное углубление Чарткова, когда он «лег в постель, а между тем глаза его невольно глядели сквозь щелку ширм на закутанный простынею портрет; сияние месяца усиливало белизну простыни, и ему казалось, что странные глаза стали даже просвечивать сквозь холстину».

Сон Марьи Гавриловны из Метели — те же «мечтания» с падением стремглав и открывающейся со дна судьбой, как у Григория, предрассветные после хлопотливой бессонной ночи в день рокового решения. «Перед самым рассветом она задремала, но и тут ужасные мечтания поминутно ее пробуждали. То казалось ей, что в самую минуту, когда она садилась в сани, чтобы ехать венчаться, отец ее останавливал ее, с мучительной быстротой тащил ее по снегу и бросал в темное, бездонное подземелье... и она летела стремглав с неизъяснимым замиранием сердца... То видела она Владимира, лежит на траве, бледный, окровавленный. Он, умирая, молил ее пронзительным голосом поспешить с ним обвенчаться». Видела она это окровавленное и пронзительное, очутившись на дне «бездонного подземелья», куда сбросил ее отец.

Этот четырехглубный звучащий — с пронзительным голосом вещий сон найдет отклик в «несвязном» сне Ивана Федоровича Шпоньки в Иване Федоровиче Шпоньке и его тетушке Гоголя, с теми же пробуждениями, углубляющими до видения судьбы: сон Ивана Федоровича

четырехстворный, звуковой, с превращениями-подменой, вызванный роковым решением — Иван Федорович, по настоянию тетушки, должен жениться. Крик Ивана Федоровича, как пронзительный крик Владимира, — голос обреченности и по «морозной тьме» сравним с «нестерпимым» криком Татьяны — криком крови.

Сон гробовщика Адриана Прохорова — сон наркотический пропадной: у Прохорова от выпитого у немца сапожника на серебряной свадьбе («пьян и сердит»), у лейтенанта Ергунова в Истории лейтенанта Ергунова у Тургенева от какого-то одуряющего курева и примеси к кофею, под музыку, песню и танец Колибри. Начало такого пьяного сна — всегда исполнение желания: наконец-то, купчиха Трюхина скончалась, привез известие нарочный от ее приказчика; затем суетня «хмель бродит» — Прохоров у покойницы, хлопоты о похоронных приготовлениях, весь день в разъезде с Разгуляя на Никитинскую и обратно. Наконец, угомонился, отпустил извозчика и пешком домой. А дома гости: комната полна мертвецами — «луна сквозь окна освещала их желтые и синие лица, ввалившиеся рты, мутные полузакрытые глаза и высунувшиеся носы», все это были его клиенты, приглашенные им попировать в отместку сапожнику, булочнику, переплетчику, которые задели его: «пей за здоровье своих мертвецов». И опять все кажется в порядке и ничего неожиданного. Но такие сны так просто не кончаются: отставной сержант гвардии Петр Петрович Курилкин, которому гробовщик продал первый свой гроб и не без обмана: сосновый за дуб — напомнив о себе, простер перед ним костяные объятия. Гробовщика задело («кураж»), он оттолкнул Курилкина, а этот несчастный не выдержал, упал и рассыпался. И вот конец: мертвецы, заступаясь за Курилкина, набросились на гробовщика — «оглушенный их криком и почти задавленный, сам упал он на кости отставного сержанта и лишился чувств». А у Тургенева Ергунов должен влезть в подзорную трубу, «и труба та все уже и уже, вот и двинуться нельзя... ни вперед, ни назад, и дышать нечем, и что-то обрушилось на спину... и земля в рот...».

Сон Германа Пиковой Дамы — сон Раскольникова Преступления и наказания Достоевского:

«ты — убийца». Герман проснулся ночью, а значит погрузился в более глубокий сон, луна озаряла его комнату, он сел на кровать и думал о старухе: видел, как ее раздевали после бала, видел ее, как сидела она, освещенная лампадой, вся желтая, шевеля отвислыми губами, качаясь направо и налево, видел, как это мертвое лицо изменилось неизъяснимо, когда она увидела его, видел ее, как она закивала головою и подняла руку, как бы заслоняясь от выстрела, потом покатилась навзничь... видел ее в церкви в гробу и видел, когда он наклонился, прощаясь, и ему показалось, она насмешливо взглянула на него, прищуривая одним глазом... (В Вии у Гоголя вспомнится: «философу казалось, как-будто она глядит на него закрытыми глазами; ему даже показалось, как-будто из под ресницы правого глаза ее покатилась слеза, и когда она застыла на щеке, он различил ясно, что это была капля крови»). В это время кто-то с улицы заглянул к нему в окошко и тотчас отошел. Через минуту он услышал, что отпирали дверь в передней и услышит незнакомую походку: кто-то ходил, тихо шаркая туфлями. Явление старухи: «тройка, семерка и туз». И она пошла к дверям и скрылась в сенях. И увидел, что кто-то опять поглядел к нему в окошко. Значит, не только «кровавые мальчики в глазах», а и этот лунный следящий глаз: «ты — убивец». «Сумерки сгущались, полная луна светила ярче и ярче» — это на Раскольникова, она заставит его, вымучивая, и не раз повторить убийство: «из всех сил начал он бить старуху по голове, но с каждым ударом топора смех и шопот из спальни раздавались все сильнее и слышнее, а старушонка так вся и колыхалась от хохота».

Сон Гринева в Капитанской дочке — сон с подменой-превращением: «комната слабо освещена; у постели стоят с печальными лицами; я тихонько подхожу к постели; матушка приподнимает полог и говорит: «Петр Андреевич, Петруша приехал; он возвратился, узнав о твоей болезни; благослови его!» Я стал на колени и устремил глаза мои на больного. Что ж? Вместо отца моего, вижу, в постели лежит мужик с черной бородой, весело на меня поглядывая».

Этот сон найдет отклик у Толстого в его приемах описания сна, особенно ярко — в Двух стариках, да и в Ан-

не Карениной для Облонского в его сне — маленькие графинчики оказываются и женщины. Сон Гринева — вещий: «мужик вскочил с постели, выхватил топор из-за спины и стал махать во все стороны; комната наполнилась мертвыми телами; я спотыкался о тела, и скользил в кровавых лужах. Страшный мужик ласково меня кликал». Так оно все и будет, а страшный мужик — Пугачев. И про это вспомнится в Анне Карениной в ее зловещем сне: все так и будет, как однажды приснилось, и сон — ее беспощадная судьба раздавит ее колесом.



«Морозная тьма» снов — «налившееся сердце ядом» и свет поэзии — дуновение тонкого вея и воли. И в этом правда жизни? И для человеческого гения, человека в существе нечеловеческом, и свет и яд неразличимы по-человечески; другими словами судит он дело своей жизни и на вопрос «зачем», ответит «так» — так, как все совершается в мире от рождения до встреч, и до смерти.

Голос, поднятый в русской литературе гением Пушкина — голос самой жизни с ее многоцветной тайной, переливающейся то горечью, то светом.

СКВОЗНЫЕ ГЛАЗА

СОН ЛЕРМОНТОВА

Сон Лермонтова только и можно сравнить со Страшной местью: пан Данила видит во сне сон Катерины.

Лермонтов видит себя в жгучий полдень в горах, он лежит смертельно-раненый: пуля пробила грудь, течет кровь. В глазах жар, песок и желтые вершины скал.

И в своем мертвом сне он видит: Петербург, бал, огни, цветы, вспоминают о нем, смех и она одиноко, не вступая в разговоры, задремала и ей видится: он лежит смертельно-раненый среди скал и течет кровь.

Лермонтов во сне видит сквозь себя ту, которой снится, видит его — в его сне.



В полдневный жар, в долине Дагестана,
С свинцом в груди, лежал недвижим я;
Глубокая еще дымилась рана,
По капле кровь точилася моя.

Лежал один я на песке долины;
Уступы скал теснилися кругом,
И солнце жгло их желтые вершины,
И жгло меня, — но спал я мертвым сном.

И снился мне сияющий огнями
Вечерний пир в родимой стороне;
Меж юных жен, увенчанных цветами,
Шел разговор веселый обо мне.

Но, в разговор веселый не вступая,
Сидела там задумчиво одна,
И в грустный сон душа ее младая,
Бог знает чем, была погружена.

И снилась ей долина Дагестана...
Знакомый труп лежал в долине той,
В его груди, дымясь, чернела рана,
И кровь лилась хладеющей струей.

Лермонтов. Сон. 1841 г.

ТУРГЕНЕВ - СНОВИДЕЦ

Всякая человеческая жизнь великая тайна. И самые точнейшие проверенные факты из жизни человека и свидетельства современников не создают и никогда не создадут живой образ человека: все эти подробности жизни — только кости и прах. Оживить кости — вдохнуть дух жизни может легенда и только в легенде живет память о человеке.

Ленинское о Толстом: «срывание всех и всяческих масок» — наивная детская повадка ломать игрушки. Что ж, оторву руки, оторву ноги, доберусь до самого горла или в живот к пружинке-пищику, все пальцы себе исцарапаю над пружинкой, наконец, и ее оторву, а тайна останется — ее не вырвешь: кукла подымающая и опускающая веки, а если подавить брюшко — пищит. Наивные дети! И Толстой, правдиво разложивший Наполеона, и Ленин, оценивший эту правдивость. Но и Наполеон и Толстой, сколько бы ни срывали с них масок, живы и будут жить в легенде.

Легенда и есть дух жизни.

День человека: как он встает, ест, пьет — эти мелочи жизни, хотя бы восстановленные с фотографической правдивостью, ничего не прибавят и не убавят к живому образу человека — все эти живейшие движения, общие с другими людьми, мертвы. И всякие собрания анекдотов, сплетни, суд современников и даже собственные признания, сводящиеся обыкновенно к общему и как всякие откровенные признания, никогда не без показной фальши, также мертвы. Дух жизни дает легенда, а легенда о писателе создается из его произведений, в которых писатель выражает себя и только себя в самом своем сокровенном, а через себя и тайну жизни.

Тургенев — сновидец. Реальность его жизни громадна: явь и сон. Из скрытой сонной реальности, глубины не Гоголя, и не Толстого, и не Достоевского, почерпнул он силу Елены «Накануне», силу Лукерьи «Живые мощи», силу Марианны «Новь» и силу Лизы «Дворянское гнездо» — силу четырех матерей.

Тургенев — сновидец. Ни один писатель не оставил столько снов — редкий тургеневский рассказ без сна. Из писателей второго круга, к которому принадлежит Тургенев, только Лесков, и в этих снах их общее.

Тургеневу приснился сон: зеленый старичок дал ему орешек. (Рассказ о. Алексея). Этот зеленый старичок Гоголь. Из учеников Гоголя, а ученики Гоголя — и Достоевский, и Писемский, — Тургенев добросовестно исполнил все, что получил от своего учителя: от «Записок охотника» до «Песни торжествующей любви».

Слова Тургенева робки — для гоголевской «нестерпимозвенящей трели» он глух, и в самом известном его «Русский язык» вышла путаница с «могучим» и «свободным . Тургенев владел и «обходительным», по петровской терминологии, или «крестьянским наречием» по Пушкину, искусно имитировал мужика и создал вместе с Писемским и Толстым условно народный язык, в котором простонародные слова выражаются в речи книжного литературного склада; синтаксисом народной речи — сказом займется Лесков, первый после протопопа Аввакума, и словесно станет ближе — понятнее простому русскому народу, чем самый «народный» «Бежин луг», который всегда останется барской подделкой.

Тургенев описывает природу, изображая землю и небо, цветы, ночь, звезды и зори, весну, осень, лето и зиму. Его описания, как подобные же у Гоголя, Толстого, Писемского, Лескова и Гончарова, вошли в наш глаз; эти описания создали целый мир «русской природы» — музейный памятник любующегося глаза. Но какому современному писателю, прошедшему, или пытающемуся пройти через высокий мир Гоголя, Толстого и Достоевского, придет в голову заниматься «описанием природы», которой вообще в природе и не существует, а есть сила — и добрая со всей теплотой материнского сердца, и злая — со всей беспощадностью к незащищенным, сила, которая ненавистна своим «законом» и «необходимостью» для мятежного, своевольного сердца.

В революцию все бросились на «Бесов» Достоевского, искали о революции. И всякий прочитал «Бесов», пропуская сокровенные слова о человеческом «сметь» — о такой революции, о которой не снилось никаким «титанам» — любимое выражение о себе наших революционеров мотыльков! — эти мысли Достоевского в признаниях Кириллова о победе над «болью» и «страхом» и начале новой эры с человеком, распоряжающимся своей судьбой; пропуская также и «красненького паучка» — об этой тайне жертвы, на игре которой стоит мир не взорванный еще революцией, которую рано или поздно подымет Кириллов — «Исповедь Ставрогина». И никто не подумал о неумиренной пламенной Марианне «Новь», и которая, я знаю, никогда не успокоится, и о ее сестре, открытой к мечте о человеческой свободе на земле, о Елене «Накануне», а кстати поискать «бесов» совсем не там — жизнь на земле трудная и в мечте человека облегчить эту жизнь, какие там «бесы»! — нет, не там, и уж если говорить о «бесах», вот мир изображенный Тургеневым, Толстым, Писемским и Лесковым — вот полчища бесов, а имя которым праздность, и самовольная праздность.

Есть озорнейший гоголевский рассказ — гоголевская тема, как страсть водит за нос и губит человека — «Шинель»: среди словесного перелива на зубоскал и хохот, вдруг горькие строки о человеке и России — «как много в человеке бесчеловечья, как много скрыто свирепой грубости в утонченной образованной светскости и, Боже, и в том человеке, которого свет признает благородным и честным». У Тургенева не было веселости духа. Тургенев без юмора и колдовства — гоголевское озорство и гоголевская магия не по нем, и вот эти единственные у Гоголя жалостные строки больно хлестнули его по сердцу: все рассказы Тургенева, начиная с «Записок охотника» — о человеке, как человек мудрует над человеком. И это современно, и Тургенев современен: современность спрашивает не только «чего», а также и «из-за чего»? Все пройдет и разрушится, как паутина — нет, то-то, что нет: глубочайшие чувства человеческого сердца неизбывны — нельзя забыть! — и вот наступил «суд жесточайший преимущим».

Зверовидные женщины Тургенева: Одинцова, Ирина, Полозова, Лаврецкая — это цепь такой цепкой бессмертной жизни, замыкающаяся Еленой Безуховой в «Войне и мире» Толстого,

Глафирой Бодростиной в «На ножах» Лескова и Екатериной Петровной Крапчик в «Масонах» Писемского, Саломеей Петровной Брониной в «Приключениях из моря житейского» Вельтмана — сестры вокруг «Древа жизни. А как далека от этого «Древа» одиноко стоит Лиза: образ восходящего духа через отречение. Судьба Лизы недосказанная в Софье «Странной истории», досказана в Евлампии «Степного короля Лира»: не победив во имя какой-то высшей воли одну из своих воль, человек не найдет в себе силы владеть волею других, и с каким умом и способностями не чета скромнейшей и простоватой Лизе, а угодит в пылесос. И как Лиза, одиноко стоит «Богом убитая» Лукерья из «Живых мощей», перекликающаяся с Ульяной из «Обойденных» Лескова — «безответные, сиротливые дети и молитвенницы за затолокший их мир Божий».

Безулыбный, делящий жизнь между чудовищной явью и кошмарным сном, Тургенев, рассказав о своей судьбе в «Петушкове» слышит «стук-стук» скрытой руки этой судьбы — тайный знак приближающегося удара неизбывного часа, от которого не уйти и самому живучему, самому цепкому, самому зверскому, рожденному под «Древом Жизни». Нет, Тургенев не тот чванливый московский хлыщ с парижским «tiens» и «merci», каким он мог казаться Достоевскому, исстрадавшемуся и увидевшему свет из страдания в жертвенном страдании человека, и Толстому, рассказавшему с исключительной верой в чудесность человека о радости и свете человеческом, Тургенев, из своей тайной памяти от четырех Матерей почерпнувший силу, и сердце его — навсегда раненое неразделенной первой любовью и неутоленное, открыто к жуткой и жгучей беде человека бунтующего и смиренного перед неумолимой и беспросветной судьбой и одна сквозь эту тьму, как огонек, надежда — его последнее слово — что неутоленное здесь — там утолится: «любовь сильнее смерти».

ТРИДЦАТЬ СНОВ

1.

Безулыбный, раненый в юности («Первая любовь»), и на всю жизнь завороженный («Петушков»), верный («Петушков», «Вешние воды»), Тургенев, которому снились сны — ни один русский писатель не сохранил их столько в рассказах, как Тургенев. И осененный веселостью духа, хохочущий Гоголь («сквозь слезы» добавлено Гоголем, из своего глубокого сна), для которого самая наша явь пронизана волшебным в т р и г л у б и сном («Портрет», «Нос»), с его бесформенностью и нереальностью в нашем дневном представлении — в формах грандиозных, искривленных и усеченных. Ни один русский писатель не был так под чарами Гоголя, как, посвященный Гоголем, Тургенев («Рассказ о. Алексея»). Тургенев исполнил все, что мог по своим силам, тихим голосом (вот, кто никогда не напугает!), выполнял заветы своего громкого учителя. И это ярко выступает при чтении Тургенева и непосредственно за ним Гоголя.

2.

Тургенев понимал различие подлинного сна от сочиненного: сон со всей своей несообразностью проходит не под знаком Эвклида и вне всякой логики, а и самое фантастическое сочинение непременно трехмерно и логично.

«Зинаида предложила, чтобы тот, чей фант вынется, рассказывал свой сон, но это не удалось. Сны выходили либо неинтересные (Беловзоров видел во сне, что накормил свою лошадь карасями, и что у ней была деревянная голова), либо неестественные, сочиненные. Майданов угостил нас целою повестью: тут были и могильные склепы, и ангелы с лирами, и говорящие цветы, и несущиеся издалека звуки». («Первая любовь», 1860).

3.

Сон и мечта одного порядка. Слово «мечта» в старо-русском значение — наваждение, как сон: «Тогда явись мечта к По-

лотску: в нощи всегда стук по улици, яко человеци, рищут беси» (Переяславская летопись, 6601 г.). Мечта всегда для «нормального» глаза и уха несообразна, как «пустой» сон. Замечание Мосье Франсуа о Консидеране (Виктор Консидеран, 1808-1893), ученике Фурье (1772-1837), революционере, создателе фаланстеров, просится на изображение, как сон.

«Мосье Франсуа принял несколько торжественную позу: «социализм родился у нас, во Франции, милостивый государь, — да и во Франции же умрет, если уже не умер. Или его убьют. Убьют его двояко: или насмешкой — не может же г-н Консидеран безнаказанно уверять, что у людей вырастет хвост с глазом на конце... или вот как: он поставил обе руки, как бы прицеливаясь из ружья. Вольтеш говаривал, что у французов не эпические головы; а я осмеливаюсь утверждать, что у нас не социалистические головы. — За границей о нас не такого мнения. — В таком случае, вы все, господа, за границей в сотый раз доказываете, что не понимаете нас. В настоящее время социализм требует творческой силы. Он пойдет за ней к итальянцам, к немцам... к вам, пожалуй. А француз — изобретатель... (он почти все изобрел)... но не творец. Француз остер и узок, как шпага — вот, он и проникает в суть вещей, изобретает, находит... А чтобы творить — надо быть широким, круглым». («Человек в серых очках». Из парижских воспоминаний, 1848 г.).

4.

Гоогль родился посвященным: в детстве ему слышались голоса; внешне это выражалось в том, что у него текло из ушей; и с ранней юности его не покидала мысль совершить какое-то важное дело, которое и означит его жизнь. Конечно, он умер без такого сознания совершонного дела, очень хорошо понимая, какой величайший дар ему был отпущен — владеть, как никто, словом. Мне представляется Гоголь стоящим перед «завесой», которая так и не разодралась — и он задохнулся. Но кто же, как не посвященный, мог рассказать о волшебном полете в «Вии», перед которым «Призраки» кажутся лётом паутинки, и о колдовстве — вызова живой души (астрального тела) в «Страшной мести», перед которой самое совершенное и страшное — «Песнь

торжествующей любви» — только беллетристика: занимает, но не трогает. Сделайте опыт, прочитайте «Вечера» Гоголя, рассказ за рассказом, не растягивая на долгий срок, и я по опыту знаю, что и самому «бессонному» приснится сон. А это значит, что слово вышло из большой глуби, а накалено на таком пламени, что и самую слоновую кожу прожжет, и, как воск, растопит кость.

Тургенев — посвященный Гоголем. О этом посвящении — в «Рассказе о. Алексея»: встреча в лесу с зеленым старичком, который дал орешек; зеленый старичок — Гоголь.

«В лесу гулять ходил да встретил там зеленого старичка, который со мной много разговаривал и такие мне вкусные орешки дал! Никогда его доселе не видывал. Маленький старичок, с горбиною, ножками все семенит и посмеивается — и весь, как лист, зеленый. И лицо, и волосы, и самые даже глаза. Вот у меня в кармане и орешек один остался. (Ядрышко небольшое, вроде каштанчика, словно шероховатое; на наши обыкновенные орехи не похоже...). («Рассказ о. Алексея»).

С Гоголем связаны у Тургенева две большие памяти: выход «Записок охотника» и ссылка. «Записки охотника», написанные большею частью в Париже, вышли отдельной книгой в 1852 году — в год смерти Гоголя. Их можно было бы смело назвать, сохраняя подзаголовок «записки охотника» — «Жестокие души»: ведь это тот же самый путь, что и Чичикова, только севернее, а сам Чичиков — ведь он охотник, а разве не в природе охоты: «видеть свет и коловращение людей — есть уже само по себе, так сказать, живая книга и вторая природа». В 1852 г. за статью по случаю смерти Гоголя «Письмо из Петербурга», не пропущенную цензурой, Тургенев был арестован и выслан в Спасское «без права выезда».

У Тургенева был очень тихий голос, и самая словесно-яркая «природа» его стирается из памяти, за исключением «Поездки в полесье», где чувствуется и гарь лесных пожаров, и досладости затхлая топь болот. Из рядовых описаний, как пример, лучшее в «Нови».

«Погода была июньская, хоть и свежая: высокие резвые облака по синему небу, сильный ровный ветер, дорога не пылит, убитая вчерашним дождем, ракиты шумят, блестят и струятся, — все движется, все летит, — перепелиный крик приносится жидким посвистом с отдаленных холмов через зеленые овраги,

точно и у этого крика есть крылья, и он сам прилетает на них, грачи лоснятся на солнце, какие-то темные блохи ходят по ровной черте обнаженного небосклона... это мужики двоят поднятый пар».

А вот гоголевское — косьба из «Ивана Федоровича Шпоньки и его тетушки»:

«Единодушный взмах десятка и более блестящих кос; шум падающей стройными рядами травы; изредка заливающиеся песни жниц, то веселые, как встреча гостей, то заунывные, как разлука; спокойный, чистый вечер, — и что за вечер! как волен и свеж воздух! как тогда оживлено все: степь краснеет, синеет и горит цветами; перепелы, дрофы, чайки, кузнечики, тысячи насекомых, и от них свист, жужжание, треск, крик, и вдруг стройный хор; и все не молчит ни на минуту; а солнце садится и кроется. У! как свежо и хорошо! По полю, то там, то там, раскладываются огни и ставят котлы, и вкруг котлов садятся усатые косари; пар от галушек несется; сумерки сереют...».

Или после такого громопровода, как Гоголь, Толстой, Лесков и Достоевский, нормальный человеческий голос кажется не звучнее мышеписка? Гоголь остался вне подражаний — просто не допрыгнешь! Тургеневский глаз и слух был усвоен всей последующей русской литературой, где только довались описания природы; из современных писателей — М. М. Пришвин взглянул по своему на небо и услышал другие звуки в траве и в лесе.

5.

Душа человеческая это не такое, что с течением времени вырастает, как растет дерево: душа человека одна и вся со всей ее судьбой: она углубляется и просветляется, или высыхает и темнеет, но судьба неизменна. Это особенно ясно в творчестве, для которого не существует времени: может быть зорко такое отдаленное, о котором себе сказать, не поверишь. О своем посвящении Тургенев рассказал под конец своей жизни: «Рассказ о. Алексея — 1877 г., а о своей судьбе в рассказе «Петушков» — 1847 г: Судьба Тургенева связана с Виардо, с которой он познакомится в 1845 г., и вся жизнь его прошла под ее знаком: так и умер он в «чужом гнезде», в Буживале, под Парижем. Судь-

ба Петушкова — судьба Тургенева. В рассказе нет сна, но очень близкое сну — «приворот»:

«Ивана Афанасьевича разобрала сильная досада. В недоумении отошел он на другую сторону улицы и предался весь, как дитя, своему неудовольствию. «Господин!.. — раздался довольно приятный женский голос: — господин!». Иван Афанасьевич поднял глаза. Из форточки булочной выглядывала девушка лет семнадцати и держала в руке булку. Лицо она имела полное, круглое, щеки румяные, глаза карие, небольшие, нос несколько вздернутый, русые волосы и великолепные плечи. Ее черты выражали доброту, лень и беспечность. «Вот вам, сударь, булка, — сказала она, посмеиваясь, — я, было, взяла ее себе, да уж извольте, уступлю вам». «Покорнейше благодарю. Позвольте-с...». Петушков начал шарить у себя в кармане. «Не надо, не надо-с. Кушайте себе на здоровье». Она затворила форточку. Петушков пришел домой в совершенно приятном расположении духа. «Вот ты не достал булки, — сказал он своему Онисиму, — а я вот достал, видишь?..». Онисим горько усмехнулся. В тот же день, вечером, Иван Афанасьевич, раздеваясь, спросил слугу своего: «Скажи мне, братец, пожалуйста, что там у булочницы за девка, а?». Онисим посмотрел в сторону довольно мрачно и возразил: «А на что вам?». «Так», — сказал Петушков, собственноручно снимая сапоги. «А ведь хороша!», снисходительно заметил Онисим. «Да... недурна... — промолвил Иван Афанасьевич, глядя тоже в сторону, — а как ее зовут, знаешь?». «Василисой». «И ты ее знаешь?». Онисим помолчал несколько. «Знаем-с». Петушков разинул, было, рот, но повернулся на другой бок и заснул. Онисим вышел в переднюю, понюхал табаку и покрутил головой. (Петушков»).

Роль Онисима — роль трагического хора. Он же и объясняет, что тут «приворот»:

«Воть, хоть бы изволите знать унтера Круповатого?.. У него брат от приворота пропал. И приворотили-то его к бабе старой, к поварихе. Дали съесть простой кусок ржаного хлеба, с наговором, разумеется. Вот, и врезался Круповатовский брат по уши в повариху, так и бегал всюду за поварихой, души в ней не чаял, наглядеться не мог. Бывало, что она ему ни скомандует, он тотчас и повинуется. Даже при других, при чужих людях она им щеголяла. Ну, и вогнала его, наконец, в чахотку».

А вот заключение рассказа — судьба Петушкова:

«Лет через десять можно было встретить на улицах городка О. человека худенького, с красненьким носиком, одетого в старый зеленый сюртук с плисовым засаленным воротником. Он занимал небольшой чуланчик в известной нам булочной. Прасковьи Ивановны уже не было на свете. Хозяйством заведывала ее племянница, Василиса, вместе с мужем своим, рыжеватым и подслеповатым мещанином Демофонтом».

6.

Если бы Петушков видел сны, он увидел бы то же, что Аратов в «Кларе Милич». Петушков и Аратов — один состав. Аратов говорит про себя, что он «нетронутый»: «Он стал припоминать свое посещение у Миловидовых и весь рассказ Анны, этой доброй, чудной Анны... Сказанное ею слово: «нетронутая!» внезапно поразило его. Словно что и обожгло его, и осветило. «Да, — промолвил он громко, — она нетронутая — и я нетронутый... Вот, что дало ей эту власть!». А в «Петушкове» есть такой разговор; дело идет не о Василисе, которая совсем не «нетронутая», а о самом Петушкове: «А ведь надо правду сказать, — промолвил Бублицын, поглаживая свои бурые бакенбарды, — у нас здесь есть мещаночки такие, что куда твоя Венера мендинцейнская... Например, видали вы Василису булочницу?». — Бублицын затянулся. Петушков вздрогнул. «Впрочем, — продолжал Бублицын, исчезая в облаке дыма, — что я у вас спрашиваю? ведь вы такой человек, Иван Афанасьич! Бог знает, чем вы занимаетесь, Иван Афанасьич!». «Тем же, чем и вы», — не без досады и нараспев проговорил Петушков. «Ну, нет, Иван Афанасьеич, нет... Что вы это?». «Однако?». «Ну, да уж что, Иван Афанасьич!». «Однако? однако?». Бублицын поставил трубку в угол и начал рассматривать свои, не совсем красивые сапоги. Петушков почувствовал смущение».

Сон Аратова после известия о смерти Клары и разговора о ней с Купфером — это вызывающий голос живого пола, неизжитого в жизни, рвущегося из застывшей крови мертвой Клары и действующего без всякого посредника (наговоренной или от сердца одурманенной булки), а своей живой волей в напряженную

среду другого пола. Перед описанием этого сна Тургенев уж от себя говорит о Аратове: «Чуждый до сих пор всякого соприкосновения с женщинами, он и не подозревал, как занимательно было для него самого напряженное разбирательство женской души».

«Ему снилось: он шел по голой степи, усеянной камнями под низким небом. Между камнями вилась тропинка; он пошел по ней. Вдруг перед ним поднялось нечто в роде тонкого облачка. Он вглядывается; облачко стало женщиной, в белом платье, с светлым поясом вокруг стана. Она спешит от него прочь. Он не видел ни лица ее, ни волос... их закрывала длинная ткань. Но он непременно хотел догнать ее и заглянуть ей в глаза. Только как он ни торопился — она шла проворнее его. На тропинке лежал широкий плоский камень, подобный могильной плите. Он преградил ей дорогу. Женщина остановилась. Аратов подбежал к ней. Она к нему обернулась — но он все-таки не увидал ее глаз... они были закрыты. Лицо ее было белое, белое, как снег, руки висели неподвижно. Она походила на статую. Медленно, не сгибаясь ни одним членом, отклонилась она назад и опустилась на плиту... И вот, Аратов уже лежит с ней рядом, вытянутый весь, как могильное изваяние — и руки его сложены, как у мертвеца. Но тут женщина вдруг приподнялась — и пошла прочь. Аратов хочет тоже подняться... но ни пошевельнуться, ни разжать рук он не может — и только глядит ей вслед. Тогда женщина внезапно обернулась — он увидал светлые, живые глаза на живом, но незнакомом лице. Она смеется, она манит его рукою... а он все не может пошевельнуться. Она засмеялась еще раз — и быстро удалилась, весело качая головою, на которой заалел венок из маленьких роз. Аратов силится закричать, силится нарушить этот страшный кошмар. Вдруг все кругом потемнело... и женщина возвратилась к нему. Но это уже не та незнакомая статуя... это Клара. Она остановилась перед ним, скрестила руки — и строго, и внимательно смотрит на него. Губы ее сжаты — но Аратову чудится, что он слышит слова: «Коли хочешь знать, кто я, поезжай туда!». «Куда?» — спрашивает он. «Туда! — слышится стенящий ответ, — туда!». («Клара Милич»).

Окликающий голос, явившийся в образе Клары, увенчанной розами, видится ему в воющем черном вихре в последнюю минуту ее жизни: она окружена конями — кони угрожающе ска-

лятся, яблоками — красные яблоки, увядая, падают. Это вещий сон, предрекающий смерть: смерть представлена обезьяной, в ее лапах склянка с темной жидкостью; да и словами говорится, что это смерть. Да иначе и невозможно: как же ему погасить ее пылающий неизжитой пол?

«Полночь еще не успела пробить, как ему уже привиделся необычайный, угрожающий сон. Ему казалось, что он находится в богатом помещичьем доме, которого он был хозяином. Он недавно купил и дом этот, и все прилегавшее к нему имение. И все ему думается: «хорошо, теперь хорошо, а быть худу!». Возле него вертится маленький человечек, его управляющий; он все смеется, кланяется и хочет показать Аратову, как у него в доме и в имении все отлично устроено. «Пожалуйте, пожалуйте, — твердит он, хихикая при каждом слове, — посмотрите, как у вас все благополучно! Вот лошади... экие чудесные лошади!». И Аратов видит ряд громадных лошадей. Они стоят к нему задом в стойлах; гривы и хвосты у них удивительные... но как только Аратов проходит мимо, головы лошадей поворачиваются к нему — и скверно скалят зубы. «Хорошо, — думает Аратов, — а быть худу!». — «Пожалуйте, пожалуйте, — опять твердит управляющий, — пожалуйте в сад: посмотрите, какие у вас чудесные яблоки!». Яблоки, точно, чудесные, красные, круглые; но как только Аратов взглядывает на них, они морщатся и падают. «Быть худу», — думает он. «А вот и озеро, — лепечет управляющий, — какое оно синее, да гладкое! Вот и лодочка золотая... Угодно на ней прокатиться?.. она сама поплывет». — «Не сяду! — думает Аратов, — быть худу!» — и все-таки садится в лодочку. На дне лежит, скорчившись, какое-то маленькое существо, похожее на обезьяну; оно держит в лапах склянку с темной жидкостью. «Не извольте беспокоиться, — кричит с берега управляющий, — это ничего! это смерть! счастливого пути!». — Лодка быстро мчится... но вдруг налетает вихрь, не вроде вчерашнего, безшумного, мягкого — нет; черный, страшный, воющий вихрь! — Все мешается кругом — и среди крутящейся мглы Аратов видит Клару в театральном костюме: она подносит склянку к губам, слышатся отдаленные: браво! браво! — и чей-то грубый голос кричит Аратову на ухо: «А! ты думал, что все комедией кончится? Нет, это трагедия! трагедия!». («Клара Милич»).

Да, это роковое — неизбывное. И дальше уж не сон, а ви-

дение: окликающий голос, принявший призрачный образ сна и однажды мягким бесшумным вихрем пронесшийся через всю комнату, через него, сквозь него со словом «я», теперь оплотневает до осязаемости: Аратов, сам окликнувший Клару, чувствует «горячее прикосновение ее губ» и «влажный холодок зубов».

«Он чувствует одно: Клара здесь, в этой комнате... он ощущает ее присутствие... он опять и навсегда в ее власти! Из губ его исторгается крик: «Клара, ты здесь?». «Да!» — раздается явственно среди неподвижно освещенной комнаты. Аратов беззвучно повторяет свой вопрос. «Да!» — слышится снова. «Так я хочу тебя видеть!» — вскрикивает он, и соскакивает с постели. Несколько мгновений простоял он на одном месте, попирая голыми ногами холодный пол. Взоры его блуждали: «где же?» шептали его губы. Ничего не видать, не слыхать... Он осмотрелся — и заметил, что слабый свет, наполнявший комнату, происходит от ночника, заслоненного листом бумаги и поставленного в углу, вероятно, Платошей, в то время, как он спал. Он даже почувствовал запах ладана... тоже, вероятно, дело ее рук. Он поспешно оделся. Оставаться в постели, спать — было немыслимо. Потом он остановился посреди комнаты и скрестил руки. Ощущение присутствия Клары было в нем сильнее, чем когда либо. И вот он заговорил не громким голосом, но с торжественной медлительностью, как произносятся заклинания: «Клара, — так начал он, — если ты точно здесь! Если эта власть, которую я чувствую над собой — точно т в о я власть — явись! Если ты понимаешь, как горько я раскаиваюсь в том, что не понял, что оттолкнул тебя — явись! Если то, что я слышал — точно твой голос; если чувство, которое овладело мною — любовь; если ты теперь уверена, что я люблю тебя, который до сих пор и не любил, и не знал ни одной женщины; если ты знаешь, что я после твоей смерти полюбил тебя страстно, неотразимо, если ты не хочешь, чтобы я сошел с ума — явись, Клара!». Аратов еще не успел произнести это последнее слово, как вдруг почувствовал, что кто-то быстро подошел к нему сзади — как тогда, на бульваре — и положил ему руку на плечо. Он обернулся — и никого не увидел. Но то ощущение е е присутствия стало таким явственным, таким несомненным, что он опять торопливо оглянулся. Что это?! На его кресле, в двух шагах от него, сидит женщина, вся в черном. Голова отклонена в сторону, как в стерео-

скопе... Это она! Это Клара! Но какое строгое, какое унылое лицо! Аратов тихо опустился на колени. — Да, он был прав: ни испуга, ни радости не было в нем — ни даже удивления... Даже сердце его стало тише биться. Одно в нем было сознание, одно чувство: «А! наконец! наконец!». «Клара, — заговорил он слабым, но ровным голосом, — отчего ты не смотришь на меня? Я знаю, что это ты... но ведь я могу подумать, что мое воображение создало образ, подобный т о м у... (Он указал рукою в направлении стереоскопа). Докажи мне, что это ты... Обернись ко мне, посмотри на меня, Клара». Рука Клары медленно приподнялась... и упала снова. «Клара, Клара! обернись ко мне!» И голова Клары тихо повернулась, опущенные веки раскрылись, и темные зрачки ее глаз вперились в Аратова. Он подался немного назад — и произнес одно протяжное, трепетное: «А!». Клара пристально смотрела на него... но ее глаза, ее черты сохранили прежнее задумчиво-строгое, почти недовольное выражение. С этим именно выражением на лице явилась она на эстраду в день литературного утра — прежде чем увидала Аратова. И так же, как в тот раз, она вдруг покраснела, лицо оживилось, вспыхнул взор — и радостная, торжествующая улыбка раскрыла ее губы... «Я прощен! — воскликнул Аратов, — ты победила... Возьми же меня! Ведь я твой — и ты моя!». Он ринулся к ней, он хотел поцеловать эти улыбающиеся, эти торжествующие губы — и он поцеловал их, он почувствовал их горячее прикосновение, он почувствовал даже влажный холодок ее зубов — и восторженный крик огласил полутемную комнату». («Клара Милич»).

И вот чем кончилось, да так оно и должно было быть: «Ну, так что же? Умереть — так умереть. Смерть теперь не страшит меня нисколько. Уничтожить она меня ведь не может? Напротив, только т а к и т а м я буду счастлив... как не был счастлив в жизни, как и она не была... Ведь мы оба — нетронутые! О, этот поцелуй!» — — — С ним сделалась горячка, усложненная воспалением сердца. Через несколько дней он скончался. Странное обстоятельство сопровождало его второй обморок. Когда его подняли и уложили, в его стиснутой правой руке оказалась небольшая прядь черных женских волос. Откуда взялись эти волосы? У Анны Семеновны была такая прядь, оставшаяся от Клары; но с какой стати было ей отдать Аратову такую

для нее дорогую вещь? Разве как-нибудь в дневник она заложила — и не заметила, как отдала? В предсмертном бреду Аратов называл себя Ромео... после отравы; говорил о заключенном и совершонном браке; о том, что он знает теперь что такое наслаждение. — — — «Тетя, что ты плачешь? тому, что я умереть должен? Да разве ты не знаешь, что любовь сильнее смерти?.. Смерть! Смерть, где жало твое? Не плакать — а радоваться должно — так же, как я радуюсь». И опять на лице умирающего засияла блаженная улыбка...» («Клара Милич»).

История Аратова и Клары написана необыкновенно ярко — чего стоит зажатая в руке прядь черных волос! — и при чтении у меня такое ощущение: вижу неотступно на белом — со страниц книги — дышащий комочек слизи. Вся повесть об этом, в этом и через это. «Размазывание половых мерзостей!» — сказал бы Лев Толстой. Ну, мази нету — не на потеху написан рассказ и не с озорства, а, как и все у Тургенева, безулыбно. Написан рассказ в 1882 году в Буживале под конец жизни. Так от Петушкова через Санина («Вешние воды») и Гуськова («Бригадир») до Аратова и Муция («Песнь торжествующей любви») — «любовь сильнее смерти».

7.

Тот же мотив любви по смерти — власть неизжитого пола — в «Песне торжествующей любви». Оживляемый магическими чарами труп — мертвец Муций — больше, чем окликающий голос мертвой Клары, больше, чем призрак, материализующийся до поцелуя, Муций действует, как живой.

«Ей почудилось, что вступает она в просторную комнату с низким сводом... Такой комнаты она в жизни не видывала. Все стены выложены мелкими голубыми изразцами с золотыми «травами»; тонкие резные столбы из алебастра подпирают мраморный свод; самый этот свод и столбы кажутся полупрозрачными... бледнорозовый свет отовсюду проникает в комнату, озаряя все предметы таинственно и однообразно; парчевые подушки лежат на узком ковре по самой середине гладкого, как зеркало, пола. По углам едва заметно дымятся высокие курильницы, представляющие чудовищных зверей; окон нет нигде; дверь, завешанная бархатным пологом, безмолвно чернеет во впадине стены. И

вдруг этот полог тихонько скользит, отодвигается... и входит Муций. Он кланяется, раскрывает объятия, смеется... Его жесткие руки обвивают стан Валерии; его сухие губы обожгли ее всю... Она падает навзничь, на подушки...» («Песнь торжествующей любви»).

«Я видел, — отвечал Муций, не спуская глаз с Валерии, — будто я вступаю в просторную комнату со сводом, убранную по-восточному. Резные столбы подпирали свод, стены были покрыты изразцами, и хотя не было ни окон, ни свечей, всю комнату наполнял розовый свет, точно она вся была сложена из прозрачного камня. По углам дымились китайские курильницы, на полу лежали парчевые подушки вдоль узкого ковра. Я вошел через дверь, завешенную пологом, из другой двери, прямо напротив — появилась женщина, которую я любил когда-то. И до того она показалась мне прекрасной, что я загорелся весь прежнею любовью...». («Песнь торжествующей любви»).

А вот заключение: «В один прекрасный осенний день Фабий оканчивал изображение своей Цицилии; Валерия сидела перед органом, и пальцы ее бродили по клавишам... Внезапно, помимо ее воли, под ее руками зазвучала та песнь торжествующей любви, которую играл Муций — и в тот же миг, в первый раз после ее брака, она почувствовала внутри себя трепет новой, зарождающейся жизни... Валерия вздрогнула и остановилась. Что это значило? Неужели же...» («Песнь торжествующей любви»).

Рассказ написан в Спасском в 1881 году. Это последняя дань — учителю Гоголю. Рассказ без задоринки. Словесно он оправдывает посвящение Флоберу. Все слова сказаны, чтобы показать, что Муций мертвецом возвращается в Феррару.

«Когда Фабий встретил своего друга на одной из улиц Феррары, он чуть не закричал сперва от испуга, потом от радости. — — Черты Муциева лица мало изменились: с детства смуглое, оно еще потемнело, загорело под лучами более яркого солнца, глаза казались углубленнее прежнего — и только; но выражение этого лица стало другое: сосредоточенное, важное, оно не оживлялось даже тогда, когда он упоминал об опастностях, которым подвергался ночью, в лесах. — — И голос Муция стал глуше и ровнее; движения рук, всего тела, утратили развяз ность. — — Все то чужое, неизвестное, новое, что Муций вынес с собою из тех далеких стран — и что, казалось, вошло ему

в плоть и кровь, — все эти магические приемы, песни, странные напитки, этот немой малаец, самый даже пряный запах, которым отдавало от одежды Муция, от его волос, от его дыхания, — все это внушало Фабию чувство, похожее на недоверчивость, пожалуй, даже на робость». («Песнь торжествующей любви»).

Но несмотря на все определения «мертвого», на заключительное магическое оживление смертельно раненого Муция, нет ощущения «кадавра», и нет колдовства. А что такое колдовство, об этом рассказывает Гоголь в «Страшной мести».

В русской литературе нет более скучных страниц, чем те, которые посвящены «охоте», и в этих упражнениях, надо отдать справедливость, побил рекорд Толстой в «Анне Карениной». Но и лишенный юмора Тургенев при попытке создать нечто юмористическое в гоголевском складе, как повесть «Два приятеля», достигает, как и все «охотники», прямо противоположного, ну ничего нет смешного, а идет самая «охотницкая» скука. И мне приходит в голову мысль: нет ли связи юмора с колдовством? Ведь почему-то Гоголь, показав самое смешное, изобразил и колдовство.

8.

Пол связан с кровью. Пол как бы душа крови. Пол живет и владеет после смерти. Клара вызывает Аратова на тот свет. С того света Муций является магически оживленным трупом, чтобы соединиться с Валерией, и Валерия после чувствует в себе зарождение новой жизни — конечно, ее ребенок от Муция родился мертвый. Такова сила пола — его голос и его действие.

И кровь — эта непрерывность жизни — это замирающее, умирающее и воскресающее в другом — имеет свой голос. И этот голос открывается во сне — он идет путями не теми, при которых распознается или восчувствуется «родство» при встрече двух кровно-связанных, как мать и дочь. В рассказе «Сон» описано явление этого «голоса крови». Герой рассказа видит во сне своего отца, которого он в жизни никогда не видел, и впоследствии этот сон оправдывается: происходит встреча, и он узнает отца по сну, и всю обстановку, в которой видел он отца.

«Особенно смущал меня один сон. Мне казалось, что я иду по узкой, дурно вымощенной улице старинного города, между

многоэтажными каменными домами с остроконечными крышами. Я отыскиваю моего отца, который не умер, но почему-то прячется от нас, и живет именно в одном из этих домов. И вот я вступаю в низкие, темные ворота, перехожу длинный двор, заваленный бревнами и досками, и проникаю, наконец, в маленькую комнату с двумя круглыми окнами. Посредине комнаты стоит мой отец в шлафроке и курит трубку. Он нисколько не похож на моего настоящего отца: он высок ростом, худощав, черноволос, нос у него крючком, глаза угрюмые и пронзительные; на вид ему лет сорок. Он недоволен тем, что я его отыскал; я тоже нисколько не радуюсь нашему свиданию — и стою в недоумении. Он слегка отворачивается, начинает что-то бормотать и расхаживать взад и вперед небольшими шагами... Потом он понемногу удаляется, не переставая бормотать и, то и дело, оглядываться назад, через плечо; комната расширяется и пропадает в тумане... Мне вдруг становится страшно при мысли, что я снова теряю моего отца, я бросаюсь вслед за ним, — но я уже его не вижу — и только слышится мне его сердитое, точно медвежье, бормотанье. Сердце во мне замирает — я просыпаюсь и долго не могу заснуть опять». («Сон», рассказ).

9.

Кровь «вопиет»! Дети, духовно несвязанные родителями, кровно несут всю ответственность за своих отцов. И это сказывается в роковые сроки расплаты — при социальных катастрофах, когда передвигается жизнь: в войну и революцию. Но дети могут и «оттрудить» вину отцов по крови. Сон, а, скорее, видение в «Живых мощах» иллюстрирует искупительное дело по крови: Лукерья не только очищается сама, но и снимает своими муками тяжесть «греха» с своих родителей.

«А то еще видела я сон, а может-быть, это было видение, я уж и не знаю. Почудилось мне, будто я в самой этой плетушке лежу и приходят ко мне мои покойные родители — батюшка да матушка — и кланяются мне низко, а сами ничего не говорят. И спрашиваю я их: «зачем вы, батюшка и матушка, мне кланяетесь?». «А затем, говорят, что так как ты на сем свете много мучишься, то не одну ты свою душеньку облегчила, но и с нас большую тягу сняла. И нам на том свете стало много спо-

собнее. Со своими грехами ты уже покончила: теперь наши грехи побеждаешь. И, сказавши это, родители мне опять поклонились — и не стало их видно: одни стены видны». («Живые мощи»).

Тургенев в своих романах приводит родословия своих героев — истории сами-по-себе интересные, но не имеющие никакого отношения к их действию и ничего не объясняющие. Да иначе и не может быть — Тургенев хлопотал совершенно бесполезно: каждый, неся ответственность по крови, продолжает свой духовный род, который ничем не связан с родством по крови.

10.

О первой любви вспоминают с улыбкой. Или не помнят — заря мгновенно погасла. Но такую сохранить память, как в «Первой любви»: тут и редкий дар и исключительное событие. Заря загорелась, но не озарила, а хлестнула, и не по руке и не по лицу, а по сердцу — герой рассказа проектируется в окровавленном Беловзорове.

«Странный и страшный сон мне приснился в эту самую ночь. Мне чудилось, что я вхожу в низкую, темную комнату. Отец стоит с хлыстом в руке и топает ногами; в углу прижалась Зинаида, и не в руке, а на лбу у ней красная черта... а сзади их обоих поднимается весь окровавленный Беловзоров, раскрывает бледные губы и гневно грозит отцу». («Первая любовь»).

Раненое сердце легло тенью на весь облик Тургенева: безулыбный — ну есть ли хоть одна строчка, которая вызвала бы улыбку, и какие всегда черные концы рассказов! И это раненое сердце стало необыкновенно чувствительно к закону жизни: «человек мудрует над человеком» — «господской воли» посвящены «Записки охотника», «Муму», «Постоялый двор», «Пунин и Бабурин». И из этого чувствительного сердца поднялась Марианна в «Нови», но уж без всякой черноты и с глубоким сознанием, что «и не такие столпы валились, и злому делу рано или поздно приходит злой конец». («Постоялый двор»).

Заря любви, которая упала такой черной тенью в «Первой любви», во сне Елены («Накануне») блеснула кинжалом.

«Я все еще робею с Инсаровым. Не знаю отчего; я, ка-

жется, не молоденькая, а он такой простой и добрый. Иногда у него очень серьезное лицо. Ему, должно быть, не до нас. Я это чувствую, и мне как-будто совестно отнимать у него время. Андрей Петрович — другое дело. Я с ним готова болтать хоть целый день. Но и он мне все говорит о Инсарове. И какие страшные подробности! Я его видела сегодня ночью с кинжалом в руке. И будто он мне говорит: «Я тебя убью и себя убью!». («Накануне»).

Если вспомнить судьбу Инсарова и Елены, то увидишь, как этот кинжал блестит лунным серпом — знаком смерти.

11.

Знак смерти — лунный серп — необыкновенно ясен во сне любви о б р е ч е н н о й Лукерьи в «Живых мощах». В русской литературе нет другого более яркого образа, чем этот сон. Синие васильки и Вася; белый образ Христа, жениха небесного, сливающийся с образом Василия; солнечный Василий-Христос, говорящий словами странников, на его белой одежде золотой пояс — цвет нивы — цвет земли; несжатая золотая нива, и лунный серп в руках, и этот лунный серп — венец на голове; вертящаяся, не отпускающая рыжая собачонка — болезнь.

«Вижу я, будто стою я в поле, а кругом рожь, такая высокая, спелая, как золотая. И будто со мной собачка рыженькая, злющая-презлющая — все укусить меня хочет. И будто в руках у меня серп, и не простой серп, а самый как есть месяц, вот, когда он на серп похож бывает. И этим самым месяцем должна я эту самую рожь сжать до-чиста. Только очень меня от жары растомило, и месяц меня слепит, и лень на меня нашла; а кругом васильки растут, да такие крупные! И все ко мне головками повернулись. И думаю я: «нарву я этих васильков; Вася придти обещался — так вот, я себе венок сперва совью; жать-то я еще успею». Начинаю я рвать васильки, а они у меня промеж пальцев тают да тают, хоть ты что! И не могу я себе венок свить. А между тем, я слышу — кто-то уж идет ко мне, близко таково, и зовет: «Луша! Луша!..». «Ай, думаю, беда — не успела! Все равно, надену я себе на голову

этот месяц вместо васильков». Надеваю я месяц, и так сама вся засияла, все поле кругом осветила. Глядь — по самым верхушкам колосьев катит ко мне скорехонько — только не Вася — а сам Христос! И почему я узнала, что это Христос — сказать не могу, — таким его не пишут, — а только Он! Безбородый, высокий, молодой, весь в белом — только пояс золотой — и ручку мне протягивает. «Не бойся, говорит, невеста Моя разубранная, ступай за Мною; ты у меня в царстве небесном хороводы водить будешь и песни играть райские». И я к Его ручке как прильну! Собачка моя сейчас меня за ноги... но тут мы взвились! Он впереди... Крылья у Него по всему небу развернулись, длинные, как у чайки, — и я за Ним. И собачка должна отстать от меня. Тут только я поняла, что эта собачка — болезнь моя, и что в царстве небесном ей уже места не будет». («Живые мощи»).

12.

Большие чувства, как любовь, могут захватить совсем не того, к кому обращены. А если еще проводником является музыка, которая сама в себе несет чары, действие многократно усиливается; как пример — «Песнь торжествующей любви». В «Трех встречах» описан сон любви, возбужденный песней, обращенной к другому.

Герой рассказа ночью в Сорренто зачарован песней — песня не к нему, поющая обозналась: она ждет другого. И ее любовь действует, как огонь, на этого случайного, ей незнакомого, слушателя, она ему протягивает руки — и, спохватившись, скрывается. А он уж обожжен. И во второй раз, в России, в деревне, ночью же он слышит ту же песню, опять она — и опять не к нему. Вот уж подлинно, на чужом пиру... Но почему все-таки Тургенев нигде не намекнул, а ведь есть какая-то связь между ей и им, и иначе не может быть.

«Я заснул поздно и видел сны... То мне казалось, что я брожу где-то в пустыне, в самый жар полудня — и вдруг, я вижу, передо мною, по раскаленному желтому песку, бежит большое пятно тени... я поднимаю голову — она, моя красавица, мчится по воздуху, вся белая, с длинными белыми крыльями, и манит меня к себе. Я бросаюсь за нею; но она плывет легко и быстро,

а я не могу подняться от земли и напрасно простираю жадные руки... «Addio! — говорит она мне, улетая — зачем нет у тебя крыльев... Addio!». И вот со всех сторон раздается: «Addio!» — каждая песчинка кричит и пищит мне: «Addio!..»; нестерпимой, острой трелью звенит это «i». Я отмахиваюсь от него, как от комара — я ищу ее глазами... а уж она стала облачком, и тихо поднимается к солнцу; солнце дрожит, колышется, смеется, простирает к ней навстречу золотые длинные нити, и вот, уж опутали ее эти нити, и тает она в них, а я кричу во все горло, как исступленный: «это не солнце, это не солнце, это итальянский паук; кто ему дал паспорт в Россию? я его выведу на свежую воду; я видел, как он крадет апельсины в чужих садах...». То мне чудилось, что я иду по узкой горной тропинке. Я спешу: мне надо дойти поскорее куда-то, меня ждет какое-то неслыханное счастье; вдруг громадная скала воздвигается передо мною. Я ищу прохода: иду направо, иду налево — нет прохода! И вот за скалой внезапно раздается голос: «Passa, passa quei colli...». Он зовет меня, этот голос; он повторяет свой грустный призыв. Я мечусь в тоске, ищу хотя малейшей расселины... увы! отвесная стена, гранит повсюду. «Passa quei colli», — жалобно повторяет голос. Сердце во мне ноет, я бросаюсь грудью на гладкий камень, я в исступлении царапаю его ногтями. Темный проход открывается вдруг передо мною. Замирая от радости, устремляюсь я вперед. «Шалишь! — кричит мне кто-то, — не пройдешь». Я гляжу: Лукьяныч стоит предо мною и грозит и машет руками. Я торопливо роюсь в карманах: хочу подкупить его; но в карманах ничего нет. «Лукьяныч, — говорю я ему, — Лукьяныч, пропусти меня, я тебя после награжу». — «Вы ошибаетесь, синьор, — отвечает мне Лукьяныч, и лицо его принимает странное выражение, — я не дворовый человек; узнайте во мне Дон-Кихота Ламанчского, известного странствующего рыцаря; целую жизнь отыскивал я свою Дульцинею — и не мог найти ее, и не потерплю, чтобы вы нашли свою». — «Passa quei colli...» — раздается опять почти рыдающий голос. — «Посторонитесь, синьор!» — восклицаю я с яростью, и готов уже ринуться... но длинное копье рыцаря поражает меня в самое сердце... я падаю замертво, я лежу на спине... я не могу пошевелиться... и вот, вижу — она входит с лампадой в руке, подымает ее выше головы, озирается во мраке и, осторожно прокравшись, на-

клоняется надо мной. «Так вот он, этот шут! — говорит она с презрительным смехом, — это он-то хотел узнать, кто я, — и жгучее масло ее лампады капает мне прямо на раненое сердце... «Психея!» — восклицаю я с усилием и просыпаюсь». («Три встречи»).

Герой рассказа, для которого «эта женщина появилась, как сновидение, и, как сновидение прошла мимо и исчезла навсегда, связан со стариком сторожем Лукьянычем, тоже захваченным волной этой музыки, но конец его роковой — старик повесился».

13.

В «Постоялом дворе» есть признание Тургенева о круге своего дара. Рассказ идет о Акиме, хозяине постоялого двора.

«К вечеру жажда мести разгорелась в нем до исступления, и он, добродушный и слабый человек, с лихорадочным нетерпением дождался ночи, и как волк на добычу, с огнем в руках, побежал истреблять свой бывший дом... Но вот, его схватили, заперли. Настала ночь. Чего он ни передумал в эту жестокую ночь! Трудно передать словами все, что происходит в человеке в подобные мгновенья, все терзания, которые он испытывает; оно тем более трудно, что эти терзанья и в самом-то человеке бессловесны и немы». («Постоялый двор»).

Услышать и рассказать об этом бессловесном Тургеневу не дано было: в этом дар Достоевского и Толстого. У Тургенева слух и глаз обращены к загадочным явлениям жизни — к «случаям» — к «тайной игре судьбы»: рассказ «Стук! Стук! Стук!» — где воля человека только проводник высшей воли, направленной к другому человеку и его судьбе; рассказ «Собака», где судьба человека связана непонятным вхождением в его жизнь другой жизни, потом объясненным — сюда относятся роковые встречи; рассказ «Фауст» — вмешательство мертвого в дела живых: «кто знает, сколько каждый живущий на земле оставляет семян, которым суждено взойти только после его смерти? Кто скажет, какой таинственной цепью связана судьба человека с судьбой его детей, его потомства, и как отражаются на них его стремления, как взыскиваются с них его ошибки?». («Фауст»).

От загадочных явлений жизни близко к явлениям сна, в которых часто раскрывается духовный мир. А язык духовного мира не вещи сами по себе, а знаки, какие являют собою вещи. Которые сны видел Тургенев и которые ему рассказаны, это неважно, важно то, что его занимали сны, и в рассказах своих он связывал их с реальной жизнью.

В вещих снах о смерти смерть является под разными видами: то в роде обезьянки («Клара Милич»), то очень высокой женщиной с постным лицом, с желтыми соколиными глазами, в нерусском платье («Живые мощи»), то простой старухой в кофте, с одним глазом на лбу («Старые портреты»), то белым человеком, верхом на медведе («Чертопханов и Недопюскин»), то вороным жеребенком («Степной король Лир»), то красноголовым насекомым в роде мухи или осы, в «Насекомом».



«А то вот еще какой мне был сон. Вижу я, что сижу я этак будто на большой дороге под ракитой, палочку держу оструганную, котомка за плечами и голова платком окутана — как есть странница! И идти мне куда-то далеко-далеко, на богомолье. И проходят мимо меня все странники; идут они тихо, словно нехотя, все в одну сторону; лица у всех унылые, и друг на дружку все очень похожи. И вижу я: вьется между ними одна женщина, целой головой выше других, и платье на ней особенное, словно не наше, не русское. И лицо тоже особенное, постное лицо, строгое. И будто все другие от нее сторонятся; а она вдруг верть — да прямо ко мне. Остановилась и смотрит; а глаза у ней, как у сокола, желтые, большие и светлые-пресветлые. И спрашиваю я ее: «кто ты?». — А она мне говорит: «Я смерть твоя». Мне чтобы испугаться, а я напротив — рада-радехонька, крещусь. И говорит мне та женщина, смерть моя: «Жаль мне тебя, Лукерья, — но взять я тебя с собою не могу. Прощай!». Господи, как мне тут грустно стало! «Возьми меня, — говорю, — матушка, голубушка, возьми!». И смерть моя обернулась ко мне, стала мне выговаривать... Понимаю я, что назначает она мне мой час, да непонятно так, неявственно. «После, мол, Петровок...». С этим я проснулась». («Живые мощи»).

Сон оправдался. «Смерть пришла-таки за ней... и «после Петровок».

★

«Накануне своей смерти, князь Л. очень удивил и испугал Алексея Сергеича. Вошел к нему в комнату весь бледный да тихий и, поклонившись поясным поклоном, сперва поблагодарил за приют и призрение, а потом попросил послать за священником; ибо смерть пришла к нему — он ее видел — и ему надо всех простить и себя обелить. «Как же ты ее видел? — пробормотал изумленный Алексей Сергеич, в первый раз услыхав от него связную речь, — какова она из себя? С косою, что ли?». — «Нет, — отвечал князь Л., — старушка простенькая, в кофте, только на лбу глаз один — а глазу тому и веку нет». И на другой день князь Л. действительно скончался, совершив все должное и простившись со всеми, вразумительно и умиленно». («Старые портреты»).



«По окончании «курса наук», Пантелей поступил на службу. Василисы Васильевны уже не было на свете. Она скончалась до этого важного события, от испугу: ей во сне привиделся белый человек верхом на медведе». (Чертопханов и Недопюскин).



«Харлов нахмурился: «Нет, не меланхолия — она у меня к новолунию бывает; а позвольте вас спросить, сударыня, вы о смерти как полагаете? — — Может ли смерть кого ни-на-есть на сем свете пощадить?» — «Это ты еще что вздумал, отец мой? Кто бессмертный? Уж на что ты великан уродился — а и тебе конец будет». — «Будет! ох, будет! — подхватил Харлов, и потупился, — случилось со мною сонное мечтание... Я ведь сновидец! Прилег я как-то, сударыня, неделю тому назад слишком, под самые заговены к Петрову посту; прилег я после обеда отдохнуть маленько, ну, и заснул! и вижу, будто в комнату ко мне вбег вороной жеребенок. И стал тот жеребенок играть и зубы скались. Как жук вороной жеребенок. И как обернется вдруг этот самый жеребенок, да как лягнет меня в левый локоть, в самый как есть поджи-

лок!.. Я проснулся! ан рука не действует и нога левая тоже. Ну, думаю, паралич: однако, поразмялся и снова вошел в действие: только мурашки долго по суставам бегали, и теперь еще бегают. Как разожму ладонь, так и забегают». — «Да ты, Мартын Петрович, как-нибудь руку перележал». — «Нет, сударыня, не то вы изволите говорить! это мне предостережение... К смерти моей, значит». — «Ну, вот еще!» — «Предостережение! Готовься, мол, человече!» («Степной король Лир»).

А вот заключение:

«Харлов лежал неподвижно на груди, а в спину ему уперся продольный верхний брус крыши, конек, который последовал за упавшим фронтоном. — — Все молчали, все ждали чего-то. Наконец, послышались прерывистые, хлюпающие звуки в горле Харлова — точно он захлебывался. Потом он слабо повел одной — правой рукой (Максимка поддерживал левую), раскрыл один — правый глаз и, медленно проведя около себя взором, словно каким-то страшным пьянством пьяный, охнул — произнес, картавя: — «рас...шибся... — и, как бы подумав немного, прибавил, — вот он, воро...ной жере...бенок!» — Кровь вдруг густо хлынула у него изо рта — все тело затрепетало». («Степной король Лир»).

«Снилось мне, что сидит нас человек двадцать в большой комнате с раскрытыми окнами. Между нами женщины, дети, старики. Все мы говорим о каком-то очень известном предмете — говорим шумно и невнятно. Вдруг в комнату с сухим треском влетело большое насекомое, вершка в два длиною... влетело, покружилось и село на стену. Оно походило на муху или на осу. Туловище грязнобурого цвету; такого же цвету и плоские жесткие крылья; растопыренные мохнатые лапки, да голова угловатая и крупная, как у коромыслов; и голова эта, и лапки — ярко-красные, точно кровавые. Странное это насекомое беспрестанно поворачивало голову вниз, вверх, вправо, влево, передвигало лапки... потом вдруг срывалось со стены, с треском летало по комнате и опять садилось, опять жутко и противно шевелилось, не трогаясь с места. Во всех нас оно возбуждало отвращение, страх, даже ужас. Никто из нас не видал ничего подобного, все кричали: «гоните вон это чудовище!» — все махали платками издали... ибо никто не решался подойти... и когда насекомое взлетало — все невольно сторонились. Лишь один из наших собеседников, мо-

лодой еще, бледнолицый человек, оглядывал нас всех с недоумением. Он пожимал плечами, он улыбался, он решительно не мог понять, что с нами сталось и с чего мы так волнуемся. Сам он не видел никакого насекомого, не слышал зловещего треска его крыл. Вдруг насекомое словно уставилось на него, взвилось и, приникнув к его голове, ужалило его в лоб, повыше глаз... Молодой человек слабо ахнул, и упал мертвым. Страшная муха тотчас улетела... Мы только тогда догадались, что это была за гостья». («Насекомое»).

14.

Василий Фомич Гуськов в «Бригадире» перед смертью видит сон, что, наконец, поймал-таки свою покойницу жену: смерть ему явилась его женой, потому что любовь его «бессмертна».

«А я, господин, должно, скоро умру», — проговорил он вполголоса. Я пришел втупик. «Как, Василий Фомич, — вымолвил я, наконец, — почему же вы... это полагаете?». Бригадир внезапно задергал руками — вверх, вниз — опять-таки по-ребячьи. «А потому, господин... Я... вы, может, знаете... Агриппину Ивановну покойницу — царство ей небесное! — часто во сне вижу — и никак ее поймать не могу; все гоняюсь за нею — а не поймаю. А в прошлую ночь — вижу я, стоит она этак будто передо мною в пол-оборота и смеется. Я тотчас же к ней побег — и поймал. И она будто обернулась вовсе и говорит мне: ну, Васинька, теперь ты меня поймал». «Что же вы из этого заключаете, Василий Фомич?». — «А то, господин, заключаю: стало, вместе нам быть. Да и слава Богу, доложу вам; слава Господу Богу, Отцу и Сыну и Святому Духу — (бригадир запел): и ныне и присно и во веки веков, аминь!». («Бригадир»).

Тургенев в «Senilia» рассказал о своей смерти, которая ему представилась «Концом света».

«Чудилось мне, что я нахожусь в России, в глуши, в простом деревенском доме. Комната большая, низкая, в три окна; стены вымазаны белой краской; мебели нет. Перед домом голая равнина; постепенно понижаясь, уходит она в даль; серое одноцветное небо висит над нею, как полог. Я не один; человек десять со мною в комнате. Люди все простые, просто одетые; они ходят вдоль и поперек, молча, словно крадучись. Они избегают друг друга —

и, однако, беспрестанно меняются тревожными взорами. Ни один не знает, зачем он попал в этом дом и что за люди с ним? На всех лицах беспокойство и унылость... все поочередно подходят к окнам и внимательно вглядываются, как бы ожидая чего-то извне. Потом опять принимаются бродить вдоль и поперек. Между нами вертится небольшого росту мальчик; от времени до времени он пищит тонким, однозвучным голосом: «Тятенька, боюсь!» — Мне тошно на сердце от писку — и я тоже начинаю бояться... чего? не знаю сам. Только я чувствую: идет и близится большая, большая беда. А мальчик нет-нет — да запищит. Ах, как бы уйти отсюда! Как душно! Как томно! как тяжело... Но уйти невозможно. Это небо — точно саван. И ветра нет... Умер воздух, что-ли? Вдруг мальчик подскочил к окну и закричал тем же жалобным голосом: «Гляньте! гляньте! земля провалилась!» — «Как? провалилась?» — Точно: прежде перед домом была равнина — а теперь он стоит на вершине страшной горы! — Небосклон упал, ушел вниз — а от самого дома спускается почти отвесная, точно разрытая, черная кручь. Мы все столпились у окна. Ужас леденит наши сердца. — «Вот оно... вот оно!» — шепчет мой сосед. И вот, вдоль всей далекой земной грани зашевелилось что-то, стали подниматься и падать какие-то небольшие, кругловатые бугорки. «Это — море! подумалось всем нам в одно и то же мгновение, — оно сейчас нас всех затопит... Только как же оно может расти и подниматься вверх? На эту кручь?» И однако, оно растет, растет громадно. Это уж не отдельные бугорки мечутся вдали. Одна сплошная, чудовищная волна обхватывает весь круг небосклона. Она летит, летит на нас! Морозным вихрем несется она, крутится тьмой кромешной. Все задрожало вдруг — а там, в этой налетающей громаде, — и треск, и гром, и тысячегортанный, железный лай. Га! Каков рев и вой! Это земля завыла от страха. Конец ей! Конец всему! Мальчик пискнул еще раз... Я хотел-было ухватиться за товарищей — но мы уже все раздавлены, погребены, потоплены, унесены той, как чернила, черной, льдистой, грохочущей волной! Темнота... темнота вечная! Едва переводя дыхание, я проснулся». («Конец света»).

Это, конечно, литературная обработка сна, помеченная мартом 1878 года. В основе подлинный сон с мальчиком-«обезьянкой» и странниками из «Живых мощей». Сон — вещий. После долгих страданий — Тургенев захворал с конца 1881 года —

22-го августа 1883 года Тургенев помер: у него был рак спинного хребта, разрушивший три позвонка.

15.

Вещий сон, открывающий о смерти другого человека, описан в «Накануне»: смерть Инсарова.

«Инсаров заснул, и все затихло в комнате. Елена прислонилась головою к спинке кресла и долго глядела в окно. Погода испортилась; ветер поднялся. Большие белые тучи быстро неслись по небу, тонкая мачта качалась в отдалении, длинный вымпел с красным крестом беспрестанно взвивался, падал и взвивался снова. Маятник старинных часов стучал тяжко, с каким-то печальным шипением. Елена закрыла глаза. Она дурно спала всю ночь; понемногу и она заснула. Странный ей привиделся сон. Ей показалось, что она плывет в лодке по Царицынскому пруду с какими-то незнакомыми людьми. Они молчат и сидят неподвижно, никто не гребет; лодка подвигается сама собою. Елене не страшно, но скучно: ей бы хотелось узнать, что это за люди, и зачем она с ними? Она глядит, а пруд ширится, берега пропадают — уж это не пруд, а беспокойное море: огромные, лазуревые, молчаливые волны величественно качают лодку; что-то гремящее, грозное, подымается со дна; неизвестные спутники вдруг вскакивают, кричат, махают руками. Елена узнает их лица: ее отец между ними. Но какой-то белый вихорь налетает на волны... все закружилось, смешалось. Елена осматривается: по-прежнему, все бело вокруг; но это снег, бесконечный снег. И она уж не в лодке, она едет, как из Москвы, в повозке; она не одна: рядом с ней сидит маленькое существо, закутанное в старенький салоп. Елена вглядывается: это Катя, ее бедная подружка. Страшно становится Елене. «Разве она не умерла?» — думает она. «Катя, куда это мы с тобой едем?» Катя не отвечает и завертывается в свой салопчик; она зябнет. Елене тоже холодно; она смотрит вдоль по дороге: город виднеется вдали сквозь снежную пыль. Высокие белые башни с серебряными главами. «Катя, Катя, это Москва?» — «Нет, — думает Елена, — это Соловецкий монастырь: там много, много маленьких тесных келий; как в улье; там душно, тесно, — там Дмитрий заперт. Я

должна его освободить...». Вдруг седая, зияющая пропасть разверзается перед нею. Повозка падает, Катя смеется. «Елена, Елена»! — слышится голос из бездны. — — — «Елена!» — раздалось явственно в ее ушах. Она быстро подняла голову, обернулась и обомлела: Инсаров, белый как снег, снег ее сна, приподнялся до половины с дивана, и глядел на нее большими, светлыми, страшными глазами. Волосы его рассыпались по лбу, губы странно раскрылись. Ужас, смешанный с каким-то тоскливым умилением, выражался на его внезапно изменившемся лице. «Елена! — произнес он, — я умираю». («Накануне»).

В этом сне образ смерти — маленькое существо — умершая Катя — обезьянка из «Клары Милич»: она молчит, кутается и, наконец, смеется. «Сани» — и как память выезда из Москвы, и как знак смерти. В древности сани употреблялись для перевозки покойников — «ночью же межю клѣтми проимавше помостъ, обертѣвше въ коверъ, и ужи свѣсиша на землю; възложьше и на сани, везъше, поставиша и въ святѣй Богородици, юже бѣ создал, самъ». (Пов. вр. л. 6523 г.). «Омывше его, и оувиша и оскамитомъ со кроуживомъ, яко же достоить царемь, и возложиша и на сани и повезоша до Володимѣря» (Ипат, летоп. 6621 г.). Отсюда и выражение: «сѣдя на санѣхъ» приближаясь к смерти. (Поуч. Влад. Мономаха).

Такой же вещий сон о смерти — в «Несчастной»: смерть Сусанны.

«Мне вдруг показалось, что на окне сидит, склонившись на руки, бледная женская фигура. Свечи нагорели: в комнате было темно. Я вздрогнул, вгляделся пристальнее, и ничего, конечно, не увидал на подоконнике; но какое-то странное чувство, смешение ужаса, тоски, сожаления, охватило меня. «Александр! — начал я с внезапным увлечением, — прошу тебя, умоляю тебя, ступай сейчас к Ритчам, не откладывай до завтра! Мне внутренний голос говорит, что тебе непременно должно сегодня же повидаться с Сусанной!» Фустов пожал плечами. — — Я лег в постель, но на сердце у меня было неспокойно, и я досадовал на моего друга. Я заснул поздно и видел во сне, будто мы с Сусанной бродим по каким-то подземным сырым переходам, лазим по узким, крутым лестницам, и все глубже и глубже спускаемся вниз, хотя нам непременно следует выбраться вверх, на воздух, и кто-то все время беспрестанно зовет нас, однообразно и жа-

лобно. —— Чья-то рука легла на мое плечо и несколько раз меня толкнула. Я открыл глаза и, при слабом свете одинокой свечи, увидел пред собою Фустова. Он испугал меня. —— Я поспешно приподнялся. «Что такое? Что с тобою? Господи!» Он ничего не отвечал. «Да что случилось, Фустов? Говори же! Сусанна?» Фустов слегка встрепенулся. «Она...» — начал он сиплым голосом, и умолк. «Что с нею? Ты ее видел?». Он уставился на меня. «Ее уж нет!» — «Как нет?». — «Совсем нет. Она умерла». («Несчастная»).

Тут знак смерти не только в переходах по лестницам, но и в окликающем жалобном голосе: Сусанна кончила самоубийством.

Этот оклик в снах имеет значение не только, как вызов («Клара Милич», «Несчастная»), но может быть голосом трагического хора: предостерегающим и роковым. Такой голос слышит Мартын Петрович Харлов. «Как начну я засыпать, кричит кто-то у меня в голове: «берегись! берегись!». («Степной король Лир»).

16.

Сон, предрекающий беду, описан в рассказе «Конец Чертопханова»: снится он Чертопханову в ночь, когда у него украли его любимого и единственного Малек-Аделя. И что любопытно: совпадение цвета в сне матери и сына! Мать Чертопханова видит перед смертью белого человека на медведе, а сын — «белую-белую, как снег, лисицу, и сам он на верблюде». Этот кровный белый цвет — цвет основы земли — цвет чистоты — для Чертопхановых роковой.

«Ему привиделся нехороший сон: будто он выехал на охоту, только не на Малек-Аделе, а на каком-то странном животном, в роде верблюда; навстречу ему бежит белая-белая, как снег, лиса... Он хочет взмахнуть арапником, хочет направить на нее собак — а вместо арапника у него в руках мочалка, и лиса бегает перед ним и дразнит его языком. Он соскакивает с своего верблюда, спотыкается, падает... и падает прямо в руки жандарму, который зовет его к генерал-губернатору, и в котором он узнает Яффа... Чертопханов проснулся. В комнате было темно; вторые петухи только-что пропели. Где-то, далеко-далеко, проржала лошадь. Чертопханов приподнял голову. Еще раз

послышалось тонкое-тонкое ржание. «Это Малек-Адель ржет! — подумалось ему, — это его ржание. Но отчего же так далеко? Батюшки мои... Не может быть..». Чертопханов вдруг весь похолодел, мгновенно спрыгнул с постели, ощупью отыскал сапоги, платье, оделся, — и, захватив из-под изголовья ключ от конюшни, выскочил на двор. — — «Украли! Перфишка! Перфишка! Украли!» — заревел он благим матом. («Конец Чертопханова»).

В этом подлинном сне: и белая лиса, и мочалка вместо арапника, и едет на верблюде, в его заключительном образе, не менее подлинном — «падает в руки жандарму, который зовет его к генерал-губернатору» — есть что-то гоголевское от единственного простого сна, описанного Гоголем в повести «Иван Федорович Шпонька и его тетушка». («Нос» и в «Портрете» — сны сложные). А в образе: «в котором он узнает Яффа» — есть от толстовского глаза. (Сон в «Двух стариках»).

Русская литература, как и литература всякого народа, едина. И как едина стихия слова, едина и стихия сна: Толстой перекликается с Пушкиным — сон Анны Карениной и сон Гринева, Тургенев с Гоголем, Толстой с Тургеневым. И какой вздор, когда после революции стали говорить о какой-то зарубежной и не зарубежной литературе; там, где стихия русского слова, не может быть речи ни о каких рубежах, ведь стихия это мир человеческой души, русского человека.

17.

Сон, предрекающий благополучие, снится Базарову перед дуэлью с Павлом Петровичем Кирсановым.

«День прошел как-то особенно тихо и вяло. Фенички словно на свете не бывало; она сидела в своей комнатке, как мышонок в норке. Николай Петрович имел вид озабоченный. Ему донесли, что в его пшенице, на которую он особенно надеялся, показалась головня. Павел Петрович подавлял всех, даже Прокофьича, своею леденящею вежливостью. Базаров начал было письмо к отцу, да разорвал его и бросил под стол. «Умру, — подумал он, — узнают: да не умру. Нет, я еще долго на свете маячить буду». Он велел Петру притти к нему на следующий день

чуть свет, для важного дела; Петр вообразил, что он хочет взять его с собой в Петербург. Базаров лег поздно, и всю ночь его мучили беспорядочные сны... Одинцова кружилась перед ним, она же была его мать, за ней ходила кошечка с черными усиками, и эта кошечка была Феничка; а Павел Петрович представлялся ему большим лесом, с которым он все-таки должен был драться. Петр разбудил его в четыре часа; он тотчас оделся и вышел с ним». («Отцы и дети»).

Сон показывает удачу: Одинцова, она же и мать, ограждает Базарова. И кошечка с черными усиками — Феничка не угрожает. Эта кошечка в гоголевском значении — это кошечка Пульхерии Ивановны из «Старосветских помещиков»: серенькая, «тихое творение, никому не сделает зла», она связана с Феничкой, как с Пульхерией Ивановной, это женственность Фенички. А так, будь кошка без Фенички, жди беды.



А вот отчаянный сон старичка «с перчиком» — Мартиньяна Гаврилыча Латкина из рассказа «Часы». Этот рассказ совсем гоголевский, под «Шинель», с восклицанием «ведь и я человек!» на манер «я брат твой», только с неизменной беспросветной тьмой, как все тургеневское.

«Паралич, поразивший Латкина, был свойства довольно странного. Руки, ноги его ослабели, но он не лишился их употребления, даже мозг его действовал правильно; зато язык его путался и, вместо одних слов, произносил другие; надо было догадываться, что именно он хочет сказать. «Чу-чу-чу, — лепетал он с усилием, он всякую фразу начинал с чу-чу-чу, — ножницы мне, ножницы». А «ножницы» означали хлеб. Отца моего он ненавидел всеми оставшимися у него силами — он его заклятью приписывал все свои бедствия, и звал его то мясником, то брильянтщиком. «Чу, чу, к мяснику не смей ходить, Васильевна!». Он этим именем окрестил свою дочь, а звали его Мартиньян». — — «Насчет пищи или чего там житейского — мы уже привыкли, понимаем; а сон и у здоровых-то людей непонятен бывает, а у него — беда! «Я, говорит, очень радуюсь: сегодня все по белым птицам прохаживался, а Господь Бог мне пукет подарил, а в пукете Андрюша с ножичком». — Он нашу Любоч-

ку Андрюшей зовет. — «Теперь мы, говорит, будем здоровы оба. Только надо ножичком — чирк! Эво так!» — и на горло показывает». («Часы»).

А вот нравоучительный сон десятилетнего мальчика из рассказа «Перепелка».

Мальчик ходил с отцом на охоту. Отец хотел подстрелить перепелку, но перепелка, желая отвлечь внимание от гнезда и спасти своих детей, притворилась раненой, отец так и не выстрелил. А Трезор поймал ее и так давнул зубом, что она умерла. Мальчик зарыл ее около гнезда и поставил на могилке крест из веток белый.

«А ночью мне приснился сон: будто я на небе; и что же? На небольшом облачке сидит моя перепелочка, только тоже вся беленькая, как тот крестик! И на голове у ней маленький золотой венчик; и будто это ей в награду за то, что она за своих детей пострадала». («Перепелка»).

У Тургенева есть рисунок «Охота на детей». (Рисунок воспроизведен в книге André Mazon, Manuscrits parisiens d'Ivan Tourguénev, Paris, 1930, стр. 174). Этот рисунок как бы нравоучительная подпись к нравоучительному сну из «Перепелки». Но если посмотреть на него не глазами внучек Виардо, для которых он долгое время был забавой (дети бывают очень жестокие!), можно подумать, что такая потеха из шабаша внушена Гоголем, видавшим в «Вечере накануне Ивана Купала» и в «Заколдованном месте» саму баранью голову.

18.

Сон при воспалении легких описан в «Накануне».

«Инсаров не спал всю ночь и утром почувствовал себя дурно; однако, он занялся приведением в порядок своих бумаг и писанием писем, но голова у него была тяжела и как-то запутана. К обеду у него сделался жар: он ничего есть не мог. Жар быстро усилился к вечеру; появилась ломота во всех членах и мучительная головная боль. Инсаров лег на тот самый диванчик, где так недавно сидела Елена; он подумал: «по делом я наказан, зачем таскался к этому старому плуту», и попытался

заснуть. Но уж недуг завладел им. С страшною силой забились в нем жилы, знойно вспыхнула кровь, как птицы закружились мысли. Он впал в забытье. Как раздавленный, навзничь лежал он, и вдруг ему почудилось: кто-то над ним тихо хохочет и шепчет; он с усилием раскрыл глаза, свет от нагоревшей свечи дернул по ним, как ножом... Что это? старый прокурор перед ним, в халате из тармаламы, подпоясанный фуляром, как он видел его накануне... «Каролина Фогельмейер», — бормочет беззубый рот. Инсаров глядит, а старик ширится, пухнет, растет, уж он не человек — он дерево... Инсарову надо лезть по крутым сучьям. Он цепляется, падает грудью на острый камень, а Каролина Фогельмейер сидит на корточках, в виде торговки, и лепечет: «пирожки, пирожки, пирожки», — а там течет кровь, и сабли блестят нестерпимо... «Елена!» — и все исчезло в багровом хаосе». («Накануне»).

«Кто здесь?» — послышался голос Инсарова. Берсенев подошел к нему. «Я здесь, Дмитрий Никанорович. Что вам? Как вы себя чувствуете?» — «Один?» — спросил больной. — «Один». — «А она?» — «Кто, она?» — проговорил почти с испугом Берсенев. Инсаров промолчал. «Резеда», — шепнул он, и глаза его опять закрылись». («Накануне»).



В «Отцах и детях» описаны видения Базарова и бред перед смертью. Базаров умер от заражения крови.

«Завтра или послезавтра мозг мой, ты знаешь, в отставку подаст. Я и теперь не совсем уверен, ясно ли я выражаюсь. Пока я лежал, мне все казалось, что вокруг меня красные собаки бегали, а ты надо мной стойку делал, как над тетеревом. Точно я пьяный». («Отцы и дети»).

«Базарову становилось хуже с каждым часом; болезнь приняла быстрый ход, что обыкновенно случается при хирургических отравах. Он еще не потерял памяти и понимал, что ему говорили; он еще боролся. «Не хочу бредить, — шептал он, сжимая кулаки, — что за вздор!» — И тут же говорил: «Ну, из восьми вычесть десять, сколько выйдет?». («Отцы и дети»).

В «Якове Пасынкове» описан предсмертный бред простреленного «стрелой» Пасынкова.

«Я вошел в комнату Пасынкова. Он не лежал, а сидел на своей постели, наклонясь всем туловищем вперед, тихо разводил руками, улыбался и говорил, все говорил голосом беззвучным и слабым, как шелест тростника. Глаза его блуждали. Печальный свет ночника, поставленного на полу и загороженного книгою, лежал недвижным пятном на потолке: лицо Пасынкова казалось еще бледнее в полумраке. Я подошел к нему, окликнул его — он не отозвался. Я стал прислушиваться к его лепету: он бредил о Сибири, о ее лесах. По временам был смысл в его бреде. «Какие деревья! — шептал он, — до самого неба. Сколько на них инею! Серебро... Сугробы. А вот следы маленькие... то зайка скакал, то бел горностай. Нет, это отец пробежал с моими бумагами. Вон он... Вон он! Надо идти; луна светит. Надо идти, сыскать бумаги. А! Цветок, алый цветок — там Софья... Вот, колокольчики звенят, то мороз звенит. Ах, нет; это глупые снегири по кустам прыгают, свистят. Вишь, краснозобые! Холодно... А! вот Аксанов. Ах, да, ведь он пушка — медная пушка, и лафет у него зеленый. Вот отчего он нравился. Звезда покатилась? Нет, это стрела летит... Ах, как скоро, и прямо мне в сердце! Кто это выстрелил? Ты, Сонечка?». («Яков Пасынков»).

«Что это? — заговорил он вдруг, — посмотри-ка: море... все золотое, и по нем голубые острова, мраморные храмы, пальмы, фимиам...». Он умолк, потянулся. Через полчаса его не стало». («Яков Пасынков»).

19.

Замечательный сон описан в «Истории лейтенанта Ергунова»: сон от какого-то одуряющего средства, подмешанного к кофе (кофе показался очень крепким и горьким) и «курева» под музыку, песню и танец — с заключением из ножовой яви.

«Колибри стала по ту сторону стола и, пробежав несколько раз пальцами по струнам гитары, затянула, к удивлению Кузьмы Васильевича, который ожидал веселого, живого напева, — затянула какой-то медлительный, однообразный речитатив, сопровождая каждый отдельный, как бы с усилием выталкивае-

мый звук, мерным раскачиванием всего тела направо и налево. Она не улыбалась, и даже брови свои сдвинула, свои высокие, круглые, тонкие брови, между которыми резко выступал синий знак, похожий на восточную букву, вероятно, вытравленный порохом. Глаза она почти закрыла, но зрачки ее тускло светились из-под нависших ресниц, попрежнему упорно вперяясь в Кузьму Васильевича. И он также не мог отвести взора от этих чудных, грозных глаз, от этого смуглого, постепенно разгоравшегося лица, от полураскрытых и неподвижных губ, от двух черных змей, мерно колебавшихся по обеим сторонам стройной головы. Колибри продолжала раскачиваться, не сходя с места, и только ноги ее пришли в движение: она слегка их передвигала, приподнимая то носок, то каблук. Раз она вдруг быстро перевернулась и пронзительно вскрикнула, высоко встряхнув на воздухе гитарой... Потом опять началась прежняя однообразная пляска, сопровождаемая тем же однообразным пением. Кузьма Васильевич сидел между тем преспокойно на диване и продолжал глядеть на Колибри. Он ощущал в себе нечто странное, необычайное: ему было очень легко и свободно, даже слишком легко; он как-будто тела своего не чувствовал, как-будто плавал, и в то же время мурашки по нем ползали, какое-то приятное бессилие распространялось по ногам, и дремота щекотала ему веки и губы. Он уже не желал, не думал ни о чем, а только ему было очень хорошо, словно кто его баюкал, «бабайкал», как выразилась Эмилия, и шептал он про себя: «игрушечка»! По временам лицо «игрушечки» заволакивалось... «Отчего бы это?» — спрашивал себя Кузьма Васильевич. «От курева, — успокаивал он себя, — такой есть тут синий дымок». И опять кто-то баюкал и даже рассказывал на ухо что-то такое хорошее... Только почему-то все не договаривал. Но вот вдруг на лице «игрушечки» глаза открылись огромные, величины небывалой, настоящие мостовые арки. Гитара покатилась и, ударившись о пол, прозвенела где-то за тридевятью землями. Какой-то очень близкий и короткий приятель Кузьмы Васильевича нежно и плотно обнял его сзади, и галстук ему поправил. Кузьма Васильевич увидал перед самым лицом своим крючоватый нос, густые усы и пронзительные глаза незнакомца, с обшлагом о трех пуговицах... и хотя глаза находились на месте усов, и усы на месте глаз, и самый нос являл-

ся опрокинутым*), однако, Кузьма Васильевич не удивился нисколько, а, напротив, нашел, что так оно и следовало; он собрался даже сказать этому носу: «здорово, брат, Григорий», но отменил свое намерение и предпочел... предпочел отправиться с Колибри в Царьград для предстоящего бракосочетания, так как она была турчанка, а государь его пожаловал в действительные турки. Кстати ж, перед ним очутилась лодочка: он занес в нее ногу, и хотя по неловкости споткнулся и ушибся довольно сильно, так, что некоторое время не знал, где что находится, однако, справился и, сев на лавочку, поплыл по той самой большой реке, которая в виде Реки Времени протекает на карте на стене Николаевской гимназии, в Царьграде. С великим удовольствием плыл он по той реке и наблюдал за множеством красных гагар, беспрестанно ему попадавшихся; они, однако, не подпускали его и, ныряя, превращались в круглые розовые пятна. И Колибри с ним ехала; но, желая предохранить себя от зноя, поместилась под лодкой, и изредка стучала в дно... Вот, наконец, и Царьград. Дома, как следует быть домам, в виде тирольских шляп; и у турок все такие крупные степенные лица; только не годится долго на них глядеть: они начинают корчиться, рожи строить, а после и совсем распадаются, как талый снег. Вот и дворец, в котором он будет жить с Колибри... И так все в нем отлично устроено! Стены с генеральским шитьем, везде эполеты, по углам люди трубят, и на лодке можно въехать в гостиную. Ну, разумеется, портрет Магомета... Только Колибри бежит все вперед по комнатам, и косы ее волочатся за нею по полу, и никак она не хочет обернуться, и все меньше она становится, все меньше... Уж это не Колибри, а мальчик в курточке, и он его гувернер, и он должен влезть за этим мальчиком в подзорную трубку, и труба та все уже, уже, вот уж и двинуться нельзя... ни вперед, ни назад, и дышать невозможно, и что-то обрушилось на спину... и земля в рот...». («История лейтенанта Ергунова»).

«16-го июня, в семь часов вечера, посетил он в последний раз дом госпожи Фритче, а 17-го июня к обеду, т. е. почти через сутки, пастух нашел его в овраге возле большой Херсонской до-

---

*) Пестрый шлагбаум принял какой-то неопределенный цвет: усы у стоявшего на часах солдата казались на лбу и гораздо выше глаз, а носа как будто не было вовсе.

«Мертвые души».

роги в двух верстах от Николаева, бесчувственного, с разрубленною головой, с багровыми пятнами на шее. Мундир и жилетка на нем были расстегнуты, все карманы выворочены, фуражки и кортика не оказалось, кожаного пояса с деньгами — тоже. По измятой траве, по широкому следу в песке и глине можно было заключить, что несчастного лейтенанта волоком волокли на дно оврага, и только там нанесли ему удар в голову, не топором, а саблей, — вероятно, его же кортиком: вдоль всего следа, от самой дороги, не замечалось ни капли крови, а вокруг головы стояла целая лужа. Не оставалось сомнения в том, что убийцы его сперва опоили, потом пытались придушить и, отвезя ночью за город, стащили в овраг и там окончательно прихлопнули. Кузьма Васильевич не умер, благодаря лишь своему, поистине, железному сложению. Пришел он в себя 22-го июля, т. е. целых пят недель спустя». («История лейтенанта Ергунова»).

Под этим сном мог бы подписаться Гоголь.

20.

«Удивительное дело — сон! Он не только возобновляет тело, он некоторым образом возобновляет душу, приводит ее к первобытной простоте и естественности. В течение дня вам удалось н а с т р о и т ь себя, проникнуться ложью, ложными мыслями... сон своей холодной волной смывает все эти мизерные дрязги, и, проснувшись, вы, по крайней мере на несколько мгновений, способны понимать и любить истину. Я пробудился и, размышляя о вчерашнем дне, чувствовал какую-то неловкость... мне какбудто стало стыдно всех своих проделок». («Андрей Колосов»).

«Экая славная вещь сон, подумаешь! Вся жизнь наша сон, и лучшее в ней опять-таки сон». — «А поэзия?» — «И поэзия сон, только райский». («Яков Пасынков»).

«Я не знаю, почему говорят: сон, я это видел во сне. Не все ли равно, что во сне, что на-яву, — это трудно сказать». («Силаев»).

От описания состояния сна без сновидений Тургенев переходит к общему «жизнь — сон» и равенству сна с явью. В каком-то смысле это так — «Сон Обломова» — воспоминания детства — для самого Обломова, но не для Гончарова. И у Турге-

нева в «Senilia» есть с обозначением «мне снилось» («Природа») и ничего нет от «сна» и, как сон, но без всякого намека о сне, «Старуха».

Тургенев прекрасно различал явление сна от событий дня. В неоконченном рассказе «Силаев», написанном в конце 70-го года (André Mazon, Manuscrits parisiens d'Ivan Tourguénev, Paris, 1930, стр. 156-163) два сна: прыгающие в пыли воробьи и катающиеся на салазках белые медведи в венках из роз. Герой рассказа не различает сна от яви, потому что в яви он видит, как в снах, видения: черную кошку и своего умершего дядю.

«Силаев торопливо выпил свой стакан, трепетной рукой положил в стакан ложечку и, с веселой улыбкой, словно пришла ему в голову счастливая мысль, спросил меня: «Скажите, пожалуйста, какого вы мнения о снах?» — «Как — о снах?» — «Да, о снах, о том, что видишь во сне. Я не знаю, — продолжал он более медленным голосом, — почему говорят: сон, я это видел во сне. Не все ли равно, что наяву? Да и что видишь во сне, что наяву — это трудно сказать. Я, по крайней мере, вижу такие ясные, такие определительные сны, что память о них во мне так же свежа, как и память о том, что я видел наяву; впечатление их так и врезается в меня; я их точно видел, эти сны, действительно видел. Все эти образы так и стоят у меня перед глазами. Например, я видел вчера во сне, что иду куда-то по длинной дороге, осаженной тополями — вдали белый дом, и какое-то счастье ждет меня в этом доме. По дороге пыль — и в этой пыли прыгают воробьи — и все, и дорога, и тополи, и воробьи в пыли, и далекий дом, все это так и горит на заходящем солнце, все это я видел, и теперь гляжу на это, как на вас». — Силаев говорил очень торопливо. — «В этом нет ничего удивительного, — возразил я, несколько озадаченный предметом разговора, — действительность повторяется во сне — и все эти образы вы, верно, когда-нибудь видели, они остались в вашем воображении — и вот, они снова выступают перед вами во время сна». — «То-есть, вы хотите сказать, что во сне видишь только то, что прежде видел наяву, но отчего же у меня бывают иногда сны совершенно несбыточные; например, с неделю тому, я видел как-будто я нахожусь на Северном полюсе: кругом ледяная равнина и на ней плавают высокие ледяные горы, голубые, розовые горы

с острыми вершинами, прозрачные, с широкими пластами снега, белого, как неснятое молоко, с сверкающими иглами и зубцами — в воздухе нестерпимо крутятся бесчисленные блестки, на небе и стоят и по временам вздрагивают багровые, как отблеск, вижу, далекого пожара, столпы — и, вообразите, с этих гор на салазках попарно катаются белые медведи с венками роз на головах: ведь все это, согласитесь сами, я в действительности видеть никак не мог». — «Да, я с вами согласен», — возразил я, с невольной усмешкой. — «Ну, вот видите. Впрочем, — привстал он, приподнявшись на одном локте и еще ближе пододвинувши ко мне свое бледное и взволнованное лицо, — я хотел спросить вас о другом. Я желал бы знать ваше мненье о виденьях». — «Как о виденьях?» — «Да, о виденьях, — верите ли вы в виденья?» — «Нет, не верю... А вы, разве верите?» — Его губы слегка передернулись. — «Верю. Прежде и я не верил — а теперь верю. Да, я вам скажу, по-истине поверишь, когда...». Он остановился и, пристально поглядев на меня, спросил изменившимся голосом: «Например, позвольте спросить у вас, который час теперь?» Я посмотрел на часы: «Половина двенадцатого». — «А, прекрасно. Ну, вот я наперед вам говорю — в три четверти 12-го, т. е. через четверть часа, эта дверь отворится — так чуть-чуть — и в комнату войдет черная кошка». «Черная кошка!» — «Вы смеетесь надо мной — я знаю. Но подождите, подождите еще несколько минут, и вы увидите сами». — «Ну, эта черная кошка войдет, и что же она сделает?» — «А! да она не одна ходит, это кошка моего дяди — она все впереди его бегает». — «Стало быть, и дядя ваш к вам придет? — «Непременно: он каждую ночь у меня бывает». — «Да, позвольте узнать — ваш дядюшка здесь живет, в одном доме с вами?» — «Какой живет! Он давно умер — в том то и штука». — Я поглядел на Силаева... «Он сумасшедший!» — подумал я, это теперь ясно. — «Нет, я не сумасшедший, — промолвил он, как-будто отвечая на мою мысль, — нет, я не сумасшедший... — и глаза его как-то странно расширились и засверкали, — хотя я точно готов согласиться с вами, что все, что я говорю, теперь должно вам показаться чепухой. Да вот, слышите ли, слышите... слышите — дверь скрипнула — глядите, глядите — что, нет кошки?» Дверь, действительно, тихо скрипнула, — я быстро обернулся —

и, вообразите мое изумление, господа, — черная кошка вбежала в комнату и осторож...». («Силаев»).

Этот рассказ не только не кончен, о оборван: «осторож...». Черная кошка — не кошка с черными усиками — Феничка (не серая Пульхерии Ивановны) — это то самое, что снится к беде. А что бывает, когда она показывается в яви? — но об этом мог бы рассказать только Гоголь. При всей открытой душе своей к явлениям странным и к снам, Тургенев и чувствовал, но не имел изобразительных средств для колдовства.

Словесно робкий — Тургенев самые обыкновенные выражения или ставил в кавычки или прибавлял, «как говорится», «как говорят», например, в словах «тверёзый», «пàрит», «на припёке», «наткнулась на нас», «незадача», «лотошил», «затявкали», «жара свалила» и т. д.; а в некоторых словах неточный, например, в употреблении глагола «возразил» в значении «сказал», «ответил», или слово «желудок» вместо «живот», или в известном «Русском языке» («Senilia»), где заключительная фраза из-за неточности теряет всякий смысл: «но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!» вместо «но нельзя не верить, чтобы такой язык дан был не великому народу!». А ведь надо действительно «свободный», т. е. смелый, и «могучий», т. е. без всяких кавычек, размах, чтобы передать эту самую завязь, где сходятся и явь и сон, — эту «нестерпимо звенящую трель» колдовства.

К МОИМ РИСУНКАМ

Один чешский мальчик, — лет десяти, — по имени Адальберт, сын сапожника Худобы, катался на коньках на Засаве, в Ледече, лед подломился, и он утонул. А за три дня в школе было задано сочинение: «Мой последний сон». И он описал свой последний, как ему снилось, что он утонул. «3 февраля мне снилось, что я купался. Я хотел похвастать перед другими мальчиками, как я хорошо плаваю. Вдруг я закричал, что тону. Тогда мальчики подплыли ко мне, но я уж не мог держаться на воде, и стал тонуть. Под водой я увидел водяного, который разделял руками воду и усмехался мне. Тут я проснулся. Я был счастлив, что это все неправда». А под сном рисунок: мальчик изобразил

себя, стоит на берегу, и двух мальчиков, наметились с трамплина прыгнуть в воду, а недалеко от трамплина в воде — плавающий и что-то подстерегающий водяной.

Я очень понимаю этого мальчика: сон хочется непременно нарисовать. Рисунок, сделанный ли художником, или таким мальчиком, или мною, не художником, никогда не обманет: что подлинный сон, и что сочинено или литературная обработка, сейчас же бросится в глаза — в подлинном сне все неожиданно и невероятно.



ЦАРСКОЕ ИМЯ

Разговор по поводу выхода во французском переводе рассказов Тургенева.

В России имя Тургенева — имя царское. Два десятилетия в русской истории — 1860-1880 — обозначаются именно: «в царствование Тургенева-Толстого-Достоевского», наследовали царство Пушкина и Гоголя. Романы Тургенева отвечали на вопросы жизни и создали легенду о «тургеневской девушке». А Достоевский освятил эту легенду: «тургеневская девушка» Лиза («Дворянское гнездо»), как пушкинская Татьяна, жертвует своим счастливым часом жизни во имя сурового безжалостного долга.

(«Долг — это скрепа; а будет по другому, и развалится жизнь, как картошка, — так должно быть?).

А кроме легенды, и это уж к истории русской литературы, Тургенев первый европеец среди русских писателей: свой на Москве, да и в Париже, как дома. Европеец и Герцен, свой в Лондоне и по всей России, но своим «Колоколом» он заглушил свою «беллетристику»: вопросы дня — однодневный цветок.

Не скажу о Толстом — Толстой у всех на виду, его голос во все люди, и памятен: «Ясная Поляна!». Но Тургенев и Достоевский, это цари Русской земли — «всея великия, и малыя, и белыя, и червонныя Руси самодержцы».

«Тревога и сомнения, разлитые в произведениях Достоевского, есть наши тревоги и сомнения, и таковыми останутся они для всякого времени. В эпохи, когда жизнь катится особенно легко или когда ее трудность не сознается, Достоевский может быть даже совсем забыт и не читаем. Но всякий раз, когда в путях исторической жизни почувствуется что-нибудь неловкое, когда идущие по нем народы будут чем-либо потрясены или смущены, имя и образ Достоевского пробудится с нисколько не утраченной силою».

И кому, как не нам — годами всполошенные «алертом» и избомбардированные, мы легко подпишемся под вещим словом В. В. Розанова («Легенда о великом инквизиторе», 1894). И там, я чую, в России, разоренной, обедованной, тревогой и неизбывной утратой измученной, в России, я слышу, кричащий из самого сердца, из обоженной утробы, нечеловеческий — вся затаенная боль, слезами не вылившаяся скорбь, черные думы матерей и сестер! — этот «подгрудный», нестерпимый человеку, зловещий голос кликуш у Троицы-Сергия. Имя Достоевского в наше время, и как раз теперь, полно жизни и силы, и книги его читаются натощак, как исповедальный требник. А Тургенев, его книги? — Тургенев... «после обеда».

С первого произведения Достоевский встречен восторженно: гений. «Второй Гоголь?» — «Куда!» А сам Гоголь, он читал «Бедных людей» (1846), заметил: «растянуто». И в самом деле, какой же Достоевский художник: мера ему никак. А со следующими произведениями Достоевского и особенно с появлением замечательного рассказа «Хозяйка», подхват «Страшной мести» Гоголя, вышла неловкость: те же самые восторженные критики теперь повесили нос: «как мы осрамились» — «раздули посредственность!» — «какая нелепость!» Другое с Тургеневым: его встретили со цветами и всякое новое его произведение осыпали розами — «все хорошо, все прекрасно». — «Как-то даже неловко перед Толстым», по замечанию Дружинина*), разгадавшего

*) А. В. Дружинин (1824-1864), автор «Полиньки Сакс» (1847), ученик Лермонтова и Жорж-Занд, представитель «эстетической» критики за Белинским первого периода, и с ним П. В. Анненков (1813-1887), первый биограф Пушкина, а в то же время Аполлон Григорьев (1822-1864) со своей «органической» критикой, ему предшествовал Валериан Н. Майков (1823-1847), разгадавший судьбу Достоевского по первым его произведениям.

по первым рассказам гений Толстого. И до последнего дня жизни розовый путь — от Буживаля Виардо через Германию Шеллинга и Гёте до Петербурга к Нарвским воротам в Новодевичий монастырь к могиле у могилы «генералов» Некрасова и Салтыкова: на вечную память.

Черное отчаяние Достоевского, оно скажется словом «скверный анекдот» в рассказе «Скверный анекдот» (1862) — в этой каторжной памяти о мелькнувшей отчаянной мысли там, на каторге, после чтения единственной книги — Библии в то пронизывающее сибирское утро: ночь с беспутным дразнящим сновидением, еще липнущая к телу колючая посконь, с омерзением ногами у загаженного человеческими нечистотами острожного забора, а над головой серые, непробиваемые ни болью, ни мольбой, ни жертвой «торжественные» небеса — «скверный анекдот». Потом оно скажется в «Бесах» (1873) словами Кириллова перед самоубийством: «дьяволов водевиль».

«Вся планета наша есть ложь и стоит на лжи и глупой насмешке; самые законы планеты — ложь и дьяволов водевиль. И для чего жить, отвечай, если ты человек?» И Достоевский ответил, нашел себе утешение: «пострадать» — это единственный выход «страдание»; только так человеку еще и возможно отбыть свой каторжный век: покажу язык из подполья. «Страдание-отмщение» — проповедь Достоевского.

Темная душа Тургенева, она выразилась особенно в его снах — редкий рассказ без каркающего сновидения, и эти сны — тридцать снов — как траурная кайма на его, благоухающих цветами, картинах жизни. Тургенев нашел себе утешение: литература.

Тургенев первый русский литератор — «homme de lettres» — мастер словесного искусства. Мастерству он научился в Париже, живя бок-о-бок с французскими мастерами слова, среди их литературных традиций. Наперекор «безобразию» — закону живой жизни, он создает стройную, хоть и обреченную на безвыходность, воображаемую на человеческий лад человеческую жизнь. По плану, с метрикой и послужным списком действующих лиц он даст русскую повесть — nouvelle; наставник его будет Флобер.

У русских писателей у каждого есть хоть кончик от Достоевского — что ни говорите, какими бы волшебными танцами се-

бя не окружить, а ведь только в страдничестве человек подымается до «человека», и самый пустой скажет путное слово, возможно, что и страждущий зверь говорит своим звериным голосом на своем лайном языке: «аз есмь лютый-зверь безгрешный!» — и из помятой травы мне слышно тонким шелестом: «загубленная!»

У Толстого бывали и есть последователи: пытались и пробуют выразиться по-толстовски, но, сами понимаете, что-то не слыхать, чтобы у Шекспира были ученики, верстающиеся с учителем — можно пользоваться Шекспиром, но это другое дело. Так и с Толстым: да просто нехватка голоса, да и глаза наши — не орлы. Русская литература идет за Тургеневым, что и проще и посильнее.

Чехов той же тургеневской темноты, он описывает в своих бесчисленных рассказах пропад — как человек пропадает. Но этот пропад какой-то «семейный», в этом все и утешение: и посмеются, и поругаются, и поплачут, а потом хлопнут рюмку, закусят солеными грибками, чайку попьют и на боковую — засыпать безнадежную мысль: «пропал». И если не пропадаешь, после Чехова захочется пропадать. Чехова читают не только «после обеда», а и во всякую погоду. Я особенно люблю читать Чехова в дождик.

Тургенев начал со стихов: умные и бесцветные, и вспомнить нечего... «Выхожу один я на дорогу...» нет, это Лермонтов. Постойте, вспомнил, тоже поется «Утро туманное, утро седое...» У Тургенева стихи в тысячах — отблеск звучащей звезды Пушкина. Начинать стихами хорошо, приучают к мере и настраивают на лад, и потом язык не так разболтается; посмотрите, какая сдержанность и глаз у Лермонтова: «Герой нашего времени» (Печорин) и против «Тамарин» умного и наблюдательного Авдеева (1821-1876), ученика Лермонтова, завязнешь; да вот и у Пушкина — вроде либретто «Пиковая дама», слова не выкинешь. От стихов у Тургенева его описания природы — соблазн для многих соперничать, не дай Бог, до Горького, до громокипящих и разливных зорь, да и кто из нас, писателей второго... полета, трудящихся и трудившихся, не грешен этим грехом — «под Тургенева». А кончил Тургенев «стихотворениями в прозе» — Бодлер ему был учитель «Petits poèmes en prose». В стихотворениях в прозе много раздумья, памяти, предчувствия — на ростани дорог стоит человек, оглянулся на пройденный путь: про-

стите и прощайте, страшно! Эти слова я отчетливо слышу, я слышал и в жизни, читаю и в книгах, последнее: последние минуты К. С. Аксакова (1860). А самое совершенное по форме: «Песнь торжествующей любви», под этим рассказом мог бы подписаться Флобер. Французская наука не прошла даром, и как у Флобера — «ни к чему», так отозвался бы Толстой и Достоевский: не греет и не светит. Рассказы Тургенева не то, чтоб скучные, а очень робкие, и даже такое, рассказ Лукерьи («Живые мощи»), написан с голоса и какого, на сердце оледенеет. Голос у него был тоненький, не по росту, и какая-то жалостливая мелочность и фыркающая избалованность, что бывает от перенюха роз и оперного пения, и это особенно сказалось в его лирическом «Довольно». Достоевский, склонный вообще к обличительной литературе, он ведь и начал не с «Бедных людей», а с объявления о юмористическом «Зубоскале» (С. Петербургские Ведомости, 1845), воспроизводит в «Бесах» это «Довольно» и очень метко под названием «Merci». Но «Первая любовь», в этом рассказе такая острота чувств, столько боли и тоски, с собачьим воем — у Достоевского на ту же тему «Маленький герой», но чем помянуть его, разве только вспомнишь, что Достоевский писал его в крепости в ожидании смертного приговора. Или шаги и стук подкрадывающейся смерти не бьют так крепко, как иной раз ударит хлыстом по живому сердцу. «Первая любовь» — это крик всхлестнутого сердца.

Такое у меня было чувство, когда в первый раз я прочитал «Первую любовь». И я полюбил Тургенева. И книгу за книгой, не отрываясь, все его книги прочел, и только не мог одолеть театральное. Но Тургенев не Софокл, не Шекспир, его пьесы глядятся не с буквы, а со скоморошьих «крашеных рыл» на театре. И, конечно, его «могучий» русский язык, я, как русский, с памятью моей всего московского, не могу принять, не оговорясь: хорошо, только не по «нашему». Впрочем, я люблю слово во всех нарядах и украшениях до обезьяньего — со светящимися бело-алыми «а» и жарко-белым «о».

ЗВЕЗДА-ПОЛЫНЬ

И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг,
Такая пустая и глупая шутка!
Лермонтов

Вся планета наша есть ложь и стоит на лжи и глупой насмешке; самые законы планеты — ложь и дьяволов водевиль.
Достоевский, Бесы

ПОТАЙНАЯ МЫСЛЬ

Принято начинать с истории: как возникло литературное произведение и что о нем думали и думают. Тут у меня полный провал. Утопая, я хватался не только за соломиинку, как это принято, но и за всякое пловучее гуано — и ничего!

По примеру Бенедиктинцев (Bénédictins de St. Maur) русские писатели, — а русские писатели вообще в роде монахов... только что без капюшона и параманд не носят и, конечно, на молчок не мастаки, — затеяли трудиться над собиранием литературных матерьялов и начали издавать «Histoire littéraire de la Russie» под названием «Литературное наследство». Бенедиктинцы с 1733 г. выпустили 38 томов, последний в 1941-м, а в России с 1931-го по 1937 вышло 55 книг. В двух книгах (1934, № 15, и 1935, № 22-23) несколько статей посвящены Достоевскому. Кроме того — «Материалы и исследования» под редакцией А. С. Долинина (Лгр. Изд. Акад. Наук, 1935) и в Госиздате — «Материалы из Архива Достоевского: «Идиот» (М. 1930), «Преступление и наказание» (М. 1931) — из записной книжки, черновики, варианты. Я спрашивал у здешних наших

«рясофоров» (Ячиновский, Ковалевский, Мочульский), не появилось ли чего о «Скверном анекдоте»: нет ли каких клочков и заметок, как работал Достоевский? Но и сам Бутчик, а в книжных справочных делах он настоятель, «père Boutchik» сказал мне бестрепетно: н и ч е г о.

«Скверный анекдот» появился вслед за «Записками из Мертвого Дома» в 1862 году в журнале «Время», издание Достоевских Михаила и Федора. Действие рассказа в Петербурге на Петербургской стороне в «доме Млекопитаева» — 1859-1860 г., канун «великих реформ».

Реформы начнутся со следующего 1861-го: освобождение двадцати пяти миллионов крестьян от крепостной зависимости, гласное судопроизводство, земские учреждения, «свобода печати» (с Главным Управлением по делам печати) — все это перекувыркивающее весь уклад русской жизни, подлинно, начало русской революции, годы — которые вспомянутся пожаром 1917-го года.

Я пересмотрел много всяких исследований о Достоевском, читал пражские книги А. Бема (1929-36), заглядывал в истории русской литературы: английскую — Д. П. Святополка-Мирского (1926) и немецкую, Артура Лютера (1924), — и хоть бы словом кто обмолвился, как будто такого и рассказа нет и никогда не было, и это несмотря на заключительные строки — которые не могут не затревожить: «Пралинский смотрел в зеркало и не замечал лица своего». Стало быть, у Пралинского пропал человеческий образ? И на это не обратить внимания! Но ведь потерять лицо почище будет, чем потерять тень — как однажды потерял Петер Шлемиль у Шамиссо.

Я уверен, что и Гойю и Калло тронул бы этот кавардак, и Гойа и Калло не прошли бы мимо, как писатели-критики обойдут загадочный рассказ.

«Живопись» и «слово» — что еще представить себе более противоположное: «глаз» и «глазатая рука» (зрительный нерв в руке) и свет «неба», и не рука, не глаз, а «голос» и «мысль» и свет «сердца». Живописующий писатель такая же бессмыслица, как рассуждающий художник, и то, что называется «картинностью» в литературе — какая бедность! Слово бессильно выразить свет «неба». И это из самой природы двух блистательных, таких отдельных, своязычных искусств. Но я могу, взглянув на картину,

задуматься и высказать всю бурю моих мыслей, а художник разглядеть за словами и написать весь красочный кавардак, — так поступил бы Гойа.

Я пропускаю графику. А как раз графика связана с мыслью. В графике «линия», и наши мысли линейны. И если в живописи преображение, в графике — образование, и свет ее — искра: светит и жжет — «характеризует». Так поступил бы Калло.

Все это уже сказано и пересказано, — «обносившееся», но я подхожу к Достоевскому и хочу всеми словами сказать: Достоевский так, общими мерками, неизобразим.

Из писателей Достоевский особенно скрыт и совсем не бросается в глаза. У Достоевского все: «мысль», «под-мысль» и «за-мысли» — обходы, крюки, кривизны. И все сочится — влажно высвечивает горьким, болезненным светом: эти его «яро», «яростно», «неутолимо», «угрюмо»... эта его «обида до сердца» и часто повторяемое «неудержимо» или как однажды сказалось о погибшем человеке (о Аполлоне Григорьеве), что «заболевал он тоской своей весь, целиком, всем человеком», и вот еще, самое ужасное — «назло» или этот «беспокойный до муки заботливый взгляд», и это с «болями сердца» — с засасывающей тоской и последним взблеском отчаяния, когда «сердце, изнывая, просится на волю, на воздух, на отдых».

И всегда так скупо действие и только любопытно по нечаянности и неожиданности, по своему «вдруг». Достоевский вне театра и всякая театральная попытка представить Достоевского — да это все равно, что ощипать птицу. Ведь, Достоевский тем и Достоевский, что все его наредкость сложнейшее действие подспудом: глазами не схватить и губами не чмокнешь.

В «Скверном анекдоте» есть одно только действие — единственная сцена: свадьба в доме Млекопитаева. Но представлять пьяного — а действует пьяный Пралинский — все равно, что рассказывать кавказские анекдоты, последняя дешовка. Тем более, что на русском театре есть уже чисто театральная сцена: пьяный, завирающийся Хлестаков в «Ревизоре».

Скрытое от глаз мысленное действие, ход и распря мыслей, часто выражается у Достоевского введением в повествование античного хора. Вот это хоровое начало и можно было бы применить и на театре. Но что выйдет на нашей нехоровой комнатной сцене, я не знаю, а скорее всего — ничего.

Схема рассказа «Скверного анекдота» восходит к «Тысяча и одной ночи»: одно из ночных, испытующих судьбу, похождений Гарун-аль-Рашида. О «Тысяча и одной ночи» упоминается в рассказе, а Пралинский сравнивается с Гарун-аль-Рашидом. Для истории же литературной формы следует упомянуть рассказ гр. В. Соллогуба «Бал», — тот же самый запев, и это на глазах Достоевского, Соллогуб покровительствовал ему. А само происшествие «Скверного анекдота» — таких целое собрание у Ив. Ал. Чернокнижникова (А. В. Дружинина) в его «Сентиментальном путешествии по петербургским дачам» (1848-55), а Чернокнижников в 40-х и 50-х годах был так же популярен, как в 30-х Загоскин, — Достоевский, конечно, читал Чернокнижникова.

Но ни в каком из похождений Гарун-аль-Рашида и нигде у Чернокнижникова, в самых его замысловатых «скверных анекдотах» (напр. рассказы Веретенникова) нет того, чем Достоевский остается памятен и останется неизгладимо: «игры мыслей» и «потайной мысли». А кроме того, «Скверный анекдот» ни на что не похож, единственный. «Скверный анекдот» — рассказ обоюдный, в нем два начала; с начала и с конца, — похождение Пралинского и похождение Пселдонимова, а встреча — свадьба в доме Млекопитаева.

Сказки «Тысяча и одной ночи» перевиты стихами, это как ковер, расшитый травами и цветными ручейками. У Достоевского — мысленная перевязь действий: в «Скверном анекдоте» есть такая перевязь в несколько страниц, а по времени — полминуты.

А чтобы выделить эти «мысли», как принято выделять стихи, не попробовать ли напечатать без знаков препинания (что было бы и ближе к действительности, ведь непрерывность в ней без передышки — мысли думаются, передумываются и за-думываются)? Но меня остановил опыт Джойса: в «Улисе» страницы без запятых и эти беззначные страницы вызывают беспокойство, мы разучились читать без указки, а ведь у Достоевского целые главы такой беспрерывности. Джойс не оправдывает ожидания... впрочем, чего и требовать от его маклера Леопольда Блюма, — вся глубина Джойса только к о ж н а я с попыткой проникнуть до мочевого пузыря и предстательной железы, а вершины ему заказаны.

«Скверный анекдот» рассказ обоюдный и два претерпевающих лица — для которых в равной степени и разыгрывается скверный анекдот.

Начинаю с Пралинского. Фамилия «Пралинский» от praline, что означает «приторный», а также по созвучию с Марлинским — Бестужев-Марлинский, замечательный писатель, разоблаченный Белинским за «волканические страсти» и «трескотню фраз», не уступающих серебру Гоголя.

А если читать рассказ с конца, героем окажется бессловесный Пселдонимов. Но что значит «Пселдонимов»? псевдоним кого? Конечно, — человека, вообще человека, в поте лица добывающего свой хлеб, чтобы множиться и населять землю «по завету». Но что это значит: «почвенная кряжевая бессознательная решимость выбиться на дорогу», «существо устремленное», сын матери — «женщины твердой, неустанной, работящей, а вместе с тем и доброй», а этот выпирающий чрезмерно горбатый нос, — если бы носы, как платки, прятали в карманы, можно было бы сказать: трудно вынимается. В. В. Розанов по каким-то египетским розысканиям о человеческой трехмерности, — в длину, в ширину и... «в бок», — взглянув только на нос Пселдонимова, сказал бы, не задумавшись, своим розановским, по-гречески: «да ведь это фалл!..»

Мысль рассказа, с конца и с начала, с Пралинского и с Пселдонимова, — обманувшаяся надежда, тема рассказов «натуральной школы».

«Натуральную школу» представляли: В. И. Даль (1801-72), И. И. Панаев (1812-62), М. П. Погодин (1800-75), гр. В. Ф. Соллогуб (1814-82), Я. П. Бутков (1815-56), самый из всех одаренный: его путали с Достоевским, так они похожи.

Конечно, в описании «ада» дома Млекопитаева и «брачной ночи» Пралинского-Пселдонимова Достоевский перешиб всех своих товарищей и спутников «школы». А есть и еще кое-что в рассказе. Это — потайная мысль Достоевского.

Рассказ написан после каторги (1850-54) среди мелькнувших ожесточенных мыслей каторжной памяти.

До таких мыслей не мог додуматься ни замученный жизнью, избедовавшийся Бутков, автор «Петербургских вершин» (1846), «горюнов» и «темных людей», не говорю уж о гр. Соллогубе, авторе «Тарантаса» (1844), занявшемся «большим светом», ни

И. И. Панаев, автор «Львы в провинции», превратившийся в «Нового поэта» с пародиями, ни Погодин, автор «Черной немочи», и «Афоризмов», по «халатной» манере выражаться родоначальник В. В. Розанова, забросивший для Истории беллетристику, как Даль — для Словаря.

«Скверный анекдот» рассказ не романический, не про любовные упражнения, описательно исчерпанные и выцветшие, но всегда любопытные. Тема рассказа: человек — человек человеку подтычка и в то же время человек человеку — поперек.

Любители «физиологического» направления в литературе — этой моли, вылетевшей из Джойса, гениального разлагателя слов до их живого ядра и «розового пупочка», — пройдут мимо, ничего не расслышав в «Скверном анекдоте», а любителям любовных пьес «с поцелуями» нечего и читать, все равно не переключать. Я говорю про «Скверный анекдот», как будто бы появился рассказ в наше время среди нас, пресмыкающихся на земле, одичалых млекопитающихся — кровоядных и травоядных.

«Скверный анекдот» рассказ «абличительный», — Достоевский подчеркивает «а» по выговору: в этом «*а*» слышится задор, заносчивость и наглость; это как Бутков в своем «Темном человеке» выделяет: «богатый и не-*а*-бразован-ный», в смысле презрения. А кроме того, Достоевский мог иметь в виду те бесчисленные опечатки, какими славились периодические издания того времени; Дружинин в шутку писал не «Москвитянин», а «Масквитянин». На свадьбе в доме Млекопитаева один из гостей и как раз со стороны Пселдонимова, сотрудник «Головешки», грозит «*а*ккарикатурить» Пралинского.

«Головешка» юмористический журнал «Искра» (1859-73) Курочкина и художника Степанова: попадешь на язык, не обрадуешься, продернет до жилок и косточек. Особенно отличались стихи Буки-Ба, переплюнувшего и самого Ивана Иванова Хлопотенко-Хлопотунова-Пустяковского (О. И. Сенковского) из «Весельчака» (1858), эпиграммы Щербины, Эраста Благонравова (Алмазова) из «Москвитянина» и воейковский «Сумасшедший дом». По отзыву Аполлона Григорьева (Письмо к Н. Н. Страхову, 1861 г. «Эпоха») «подлее того смеха, какой подымает в последнее время российская словесность, едва ли что и выдумаешь». Но ни Курочкину, ни Буки-Ба, ни Степанову, ни тем, кто до них

и кто потом занимался разоблачением «личностей» и «направлений», не снилась мера обличения самого Достоевского: все рассказы Достоевского — «*а*бличительные».

И вот в моем раздумье, в горький час, не знаю отчего, вдруг навязчиво затолклось в памяти и мелькает перед глазами неотступно:

> «Соня стояла, опустив руки и голову в страшной тоске. Раскольников — подлец! — ее допрашивал, выматывал душу, — лез грязными руками к ее больно стиснутому, замученному, невиновному сердцу и грозил, что и сестра ее Полечка пойдет по той же дороге...
>
> «Нет! Нет! не может быть, нет! громко вскрикнула Соня, как будто ее вдруг ножом ранили, Бог, Бог такого ужаса не допустит!»
>
> «Других допускает-же».
>
> «Нет, нет! Ее Бог защитит, Бог!..» повторяла она, не помня себя.
>
> «Да, может, и Бога-то совсем нет», с каким-то даже злорадством ответил Раскольников, засмеялся и посмотрел на нее.
>
> Лицо Сони вдруг страшно изменилось: по нем пробежали судороги. С невыразимым укором взглянула она на него, хотела было что-то сказать, но ничего не могла выговорить, и вдруг горько-горько зарыдала, закрыв руками лицо.

Достоевский пришел в мир не любоваться на землю, на простор и красу Божьего мира, это не «Война и мир» Толстого и не «Семейная хроника» Аксакова, ни Гоголь, во-истину певец всякого обжорства и очарования, художник преображающий и падаль («Мертвые души»!) в блистательную радугу от небесной лазури до полевой зелени, — Достоевский пришел судить Божью тварь — человека, созданного по образу Божию и по подобию.

> «Пусть зажено сознание волею высшей силы, пусть оно оглянулось на мир и сказало: «я есмь»!.. Если уж раз мне дали сознать, что «я есмь», то какое мне дело до того, что мир устроен с ошибками, что иначе он не

может стоять? Кто же и за что меня после этого будет судить?» («Идиот»).



Я шел за ним по досчатому тротуару, блестевшему на месяце; ночь была гоголевская: «месяц обливал землю матовым серебряным блеском». Мы прошли Большой Проспект и там, около заснеженного дома, похожего на такие же заснеженные одноэтажные соседние дома, он остановился.

«Дом Млекопитаева!» — узнал я, вспомнив «Скверный анекдот».

И мы очутились в комнате, заставленной и затесненной. Как на престоле, среди грязи скученных до смрада домочадцев, «седяй на высоких», сидел старик Млекопитаев глубоко, как только сидят потерявшие ноги, и пил водку. Но не ругался. Он был особенно доволен, он как бы «почил от дел своих»: в этот необыкновенный сутолочный день ему удалось всех перессорить. Стравленные, расцарапавшиеся дети тут же тыкались, жалуясь и клянча. Сама Млекопитаиха, родившаяся с зубной болью, ныла, как защемленный в ставне осенний ветер, и требовала внимания к своему нытью. Все было готово к завтрашней свадьбе. Жених Пселдонимов угрюмо, но смиренно плясал казачка, а его горбатый длинный нос выназдривал и удаль и раздолье: последнее испытание человеческого смирения, «чтобы не зазнавался!» — объяснял старик Млекопитаев. Нос, отмахав версту, уткнулся в сдохлую перину, высапывая свою мечту о завтрашнем роковом дне: завтра после свадьбы старик окончательно подпишет на него дом и вот, получайте — 400 рублей приданых, годовое жалованье Акакия Акакиевича. А из-под сдохлой, запятненной перины вылезло существо с чертами полинялой Гретхен, обруселая немка, кормящаяся от Млекопитаева и им поощряемая, и начала сказку из «Тысячи и одной ночи».

Скажу так: если вино есть сок земли, очеловечивший и демонскую Красную свитку, сказка — это воздух, мечта, а без мечты дышать нечем! Тетка со сломанным ребром присоседилась к невесте, которая по всеведению старика Млекопитаева давно уж хочет выйти замуж или, как им самим выговаривается: у которой «давно уж чешется» и что-то нашептывала, а та, как

буравчик, вертелась на помятых подушках и острые пырящие глаза ее зло блестели.

«Млекопитаев» — от «млекопитающий», это податель пропитания, это — как божество, пекущееся о птицах, которые не сеют, не жнут и не собирают в житницу свою; этот безногий самодур, образ и подобие Божие, не лишенный поэзии и благотворения, — образ того демиурга, насадившего в Эдеме сад для человека и, взятой из ребра человека, жены, образ подателя великого дара «терпения» и «покорности», дара, которому никто не позавидует: бывший казначей Управы титулярный советник Млекопитаев.

Мне пришла соблазнительная мысль: представить «Скверный анекдот», как сновидение.

Снится этот сон Пралинскому и одновременно Пселдонимову. Ведь, скверный анекдот разыгрывается в равной мере, как для Пралинского, так и для Пселдонимова; один мечтает обнять «человечество», другой — сделаться «человеком». Сон в канун свадьбы, ворожит луна.

Пралинский о многом мечтал, «хотя был не глуп».

В «ошибочном» осознанном мною мире «мечтать» может только дурак, а «деятель» всегда тупоголовый (ограниченный) или — быть «честным», значит, не привелось сделать чего-нибудь особенно бесчестного, а «злокачественным» может быть всякий, и только «идиот» без зла; «порядочный человек» — трус и раб, а «добрый» — пока не попросишь денег.

Пралинский «мечтает» и еще нападала на него какая-то болезненная совестливость. О «человеке-брате» он вычитал в «Шинели» у Гоголя, и засело: «я брат твой», говорил ему Акакий Акакиевич, а под его рукой как раз эти самые Акакии Акакиевичи и среди них Пселдонимов: «брат твой!» А от Акакия Акакиевича-Пселдонимова легко было перейти вообще к «человеку», а от человека к «человечеству».

Пралинский вернулся из гостей пьяный: в голове шумело. Достоевский берет гоголевское «пьяный», а не свое — «в горячке», может быть оттого, что Пралинский вообще-то не пьющий. В нормальном состоянии человеку ничего не может от-

крыться: человек пресмыкается на земле в заботах и дальше своего носа ничего не видит, — надо какой-то вывих, встряска, подъем или распад, с пьяных глаз или когда трясет, и тогда, когда душа исходит, дух захватывает, а на одной овсянке далеко не уедешь.

Пралинский был очень пьян, не помнит, как доехал с Петербургской стороны к себе на Сергиевскую, как раздел его камердинер, как улегся в кровать и забылся.

В предсоньи, о чем редко кто вспомнит, возникают перед глазами лица — они сначала, как из жизни, но невольно начинают изменяться и принимают чудовищные формы; эти лица уже не лица, а «рожи» и притом «скверные рожи». На мгновенье, было, заснувший пробуждается от вздрога, но тотчас и переходит в сновидение.

Перед Пралинским возникли два лица: хозяин, у которого он лишнее выпил — розовое с блеском: Степан Никифорович Никифоров (Никифор значит «победоносец») и желтое с черным — цвет гостя, Семена Иваныча Шипуленка (Шипуленко значит «кипящий»). Хозяин — чиновник, занявший высокий пост еще при либеральном министре Сперанском в александровское «вольнодумство», — тогда подбирались в сотрудники министру не из знатных, а способнейшие — Иван Иванович Мартынов, Василий Поликарпович Никитин, все с именными фамилиями. А гость — умная быстия николаевской «опеки» Шипуленко из Киева родом или из Полтавы: министр внутренних дел Кочубей не мало земляков понасажал в Петербурге на знатные места.

Эти два цветных лица торчали перед Пралинским и по мере того, как изменялись, зловеще звучало одно только слово: «не выдержим — не выдержишь».

«Ан, выдержу!» кричит Пралинский, но голоса своего не слышит: его заглушали зёвом «скверные рожи».

А произошло все оттого, что в гостях с-пьяну стал он молоть языком что-то о «человеке-человечности-человечестве» на злободневную тему о «великих реформах», которые должны пересоздать обанкротившуюся после Севастополя Россию.

«Не выдержишь!» долбил голос и розовое мешалось с желтым и, блестя, клубилось, а из задымившегося рта Шипуленка вдруг медленно стал вылупляться нос Пселдонимова, распарен-

ный... скажу словами нашего первого летописца: «нельзе казати срама ради».

Пралинский при виде чудовищной свеклы не выдержал и вздрогнул. И с этого начинается сновидение.

Он выходит от Никифорова, чтобы ехать домой на Сергиевскую; хвать, а кучера нет. И пешком идет он в ночь, грозя скрывшемуся с каретой Трифону, который уехал на свадьбу к куме. Но понемногу успокаивается: сон благодетель свое берет, ведь человека и в последнем отчаянии один только сон, хоть на мгновенье, утешит. Трифон, трехполенный верзила, превращается в легкую блестящую снежинку.

«Ночь была восхитительная. Было морозно, но необыкновенно тихо и безветренно. Небо ясное, звездное. Полный месяц обливал землю матовым серебряным блеском. Было так хорошо...»

Под музыку начинается сумбур. Пралинский попал в дом Млекопитаева... попасть калошей в галантир — что ж тут такого? ведь это же нормальнейшее явление сонного, четвертого измерения! А то, что в доме все, и гости и хозяева, стали отступать от него и пятиться, а потом все это беснующееся навались грудью — да ведь это один из самых ярких признаков сновидения.

Пралинский из «Писем русского путешественника» Карамзина знал о парижском танцовальном маге, воздушном Вестрисе; дома отец часто вспоминает о Дюпоре, об этом серебряном летучем мяче, чары которого изобразит Толстой в «Войне и мире» (встреча Анатоля и Наташи Ростовой (1864-69). А вот перед ним медицинский студент (студент Военно-Медицинской Академии; форма не университетская, а военная), этот «просто Фокин» выплясывает «на голове» — мордой в землю.

Пралинский видел Фанни Эльслер, хранит на память книгу, напечатанную золотыми буквами — московское издание поклонников «Фанни», так любовно называли Эльснер в Москве (1851) за ее колосяную легкость, а вот, смотрите — Клеопатра Семеновна в истертом синем бархатном платье, она заколола себе булавками юбку и что-то выделывает ногами, как будто она в штанах. Да то ли еще будет, когда медицинский студент «рискнет» с ней протанцовать р ы б к у — «неблагопристойный» та-

нец, но что очень подойдет к свадьбе... «так сказать, дружеский намек Пселдонимову».

А как шел он под музыку, у него только мелькнула мысль о Эмеранс.

«Эмеранс» в России о ту пору «новость», мода — это не «ночные бабочки», не «девы радости», как говорили при Пушкине, картавя по-парижски, и не Соня Достоевского и не «Надежда Николаевна» Гаршина, это все приезжие заграничные «сухие б....», жадные и изобретательные чистить богатые карманы, француженки и польки по-преимуществу. Они описаны у Крестовского в «Петербургских трущобах» и у Дружинина (Чернокнижникова) в его «Сентиментальном путешествии», потом будет у Лескова в «Полунощниках» Эмеранс-Крутильда, и только что подумалось о Эмеранс-Крутильде, а ему говорят — Буки-Ба из «Головешки»-«Искры», что он, Пралинский, «один из тех начальников, которые лакомы до молоденьких жен своих подчиненных». Вот тебе и Эмеранс!

Да, как перевести Эмеранс? У Пралинского оно звучало, как «émeraude» — смарагд — яснейший изумруд — Суздальская мурава — первая нежная травка на Красную Горку. И ведь это только во сне открылось и сказано всеми словами, что он «лаком до...», а так никогда и даже намека не было и в голову не приходило.

А заключительная сцена — да это подлинный сон, когда Аким Петрович, столоначальник из канцелярии Пралинского «уторопленно стал кланяться какими-то маленькими поклонами и пятиться к дверям». Так у Гоголя в «Страшной мести» в глазах колдуна, как знак обрекающей на гибель судьбы, поднимаются тощие сухие руки, — «затряслись и пропали».

Пралинский, оставшись один, поднялся в замешательстве со стула, — «он смотрел в зеркало и не замечал лица своего».

И в ужасе проснулся.

Сон Пселдонимова в ту же самую ночь — в канун свадьбы — проще, но не менее ужасен.

Когда он остался один, покинутый перед разгромленным брачным ложем, — так ему мерещится — и стоял, как пригвожденный к кресту, а все паучиное гнездо Млекопитаевых рас-

ползалось по щелям и норам, «ахая и покивая головами своими», это была подлинно Голгофа. Перед его глазами пронеслось все беснующееся вместе с его начальником Пралинским и под выкрик: «Эх, ты, Пселдонимушка! — что звучало: «пропал твой дом, пропали твои денежки и сам ты пропадешь!» — он вздрогнул и заснул «тем свинцовым мертвенным сном, каким спят приговоренные на завтра к казни». Достоевский сам был приговорен к смертной казни, ему и книги в руки.

О Достоевском пошла слава: «достоевщина» — чад и мрак. Но разве это правда? Да в том же «Скверном анекдоте» какой чудесный мальчик — который рассказывал про литературный «Сонник», сколько в нем сердечного порыва помочь в беде; его еще и еще раз встретим у Достоевского, а зовут его Коля — Иволгин и Красоткин, в «Идиоте» и «Карамазовых».

А мать Пселдонимова?

Ее отметил и Пралинский — «народность»: «у нее было такое доброе румяное, открытое круглое русское лицо, она так добродушно улыбалась, так просто кланялась»; и старик Млекопитаев пока-что не шпынял ее; она ему понравилась, и еще потому, что весь ад Млекопитаевых злобствовал на Пселдонимова. А с какой кротостью она ухаживает за «несчастным» — да как же иначе назвать Пралинского на чужом «брачном ложе», кругом обделавшегося. В этой русской женщине-матери столько простоты, приветливости, желанности, и я скажу, п р о щ е н и я... да ведь это то, чем красна Россия и русское — богато.

А этого нигде не записано, я это услышал: мой голос — однажды прозвучавший во мне, по-русски:

«Всю жизнь я стремился к победе. И побеждал. Но всегда сочувствовал гонимым и проигравшимся — этому с набитой мордой, рукой вытирающему себе окровавленный нос!»

И еще пошла легенда о Достоевском, — о Достоевском, как о писателе небрежном, торопящемся из-за копейки. И это тоже неправда. Достоевский ученик Гоголя, а стало быть, на слово — глаз. Дружинин, критик и писатель, автор «Полиньки Сакс» (1847), а это очень важно, п и с а т е л ь, т. е. знает по себе писательское ремесло, упрекал Достоевского за излишнюю «выписанность». Легенда о небрежности пошла после «Униженных и оскорбленных» (1859) и Достоевский в «Эпохе» 1864 г. всеми

словами и со всем возмущением «горячо» выступает против такого обвинения (Примечания к статье Н. Н. Страхова: «Воспоминания о Аполлоне Григорьеве»). Достоевский признает, что действительно, спешил, но никто его не принуждал, а по своей воле поспеть сдать рукопись в типографию для журнала «Время», издание Михаила и Федора Достоевских. Этих примечаний Достоевского никто не читал, только сотрудник «Эпохи» Н. Н. Страхов и Д. Аверкиев. И легенда укрепилась: ведь, в мнениях живет молва отрицательная гораздо крепче, чем положительная: кто не знает, как долговечна клевета.

И стало общим местом говорить о Достоевском, как о писателе — как-попало. Правда, тут и сам Достоевский постарался в своих частных письмах. (Письма Достоевского с примечаниями А. С. Долинина, М. Агр. Гос. Изд. 1928-1934, I, II, III т. т.). А отсюда и убеждение, что переводить Достоевского на иностранный язык не только можно, но и должно со всей свободой, сокращая и дополняя по собственному комариному дарованию.

«Скверный анекдот» написан со всей гоголевской тщательностью: фраза обдумана, каждое слово на месте, ни прибавить, ни убавить, и никаких перестановок не напрашивается. Попадаются ассонансы и подглагольные («мереть, переть, тереть»), в прозе для уха, как блоха заскочила, беспокойно, но это объясняется не спешкой и глухотой, возможной, когда человек много пишет, а искусственностью русской книжной речи; «русский язык подвели под формы и правила иностранных грамматик, ему совершенно чуждых» (Слова К. С. Аксакова, Московский сборник 1846 г.). Это чуял Пушкин, понимали славянофилы — Хомяков, Киреевские, Аксаковы, но как далек был от этого Карамзин, Белинский, Герцен.

А что не было отзывов на «Скверный анекдот» объясняется очень просто: или некому было писать или негде.

Аполлон Григорьев (1822-64), как и Н. Н. Страхов (1828-95) были связаны с Достоевским, главные сотрудники в «Эпохе» (1864-65); В. Г. Белинского (1828-48), горячо принявшего Достоевского, его «Бедных людей» (1846). — «Гоголь? куда, дальше!» — не было на свете, как не было и Валерьяна Майкова (1824-47); Некрасов, хоть и открывший Достоевского — «второй Гоголь!» — разочаровался, как и Белинский. Кто же еще

из современников? Н. А. Добролюбов (1836-61)? Добролюбов не дожил года до «Скверного анекдота», а Н. Г. Чернышевский (1828-89) — арестован как раз с выходом «Скверного анекдота» в 1862 году, та же участь и Д. И. Писарева (1840-1868). Жив еще был Дружинин (1824-1864) — но это его последние годы жизни, с него нельзя и требовать.

В «Отечественных Записках» А. А. Краевского, где появлялись рассказы Достоевского, в критике упрекали его за «темноту изложения», и оправдывались, что не могут найти «ключа», куда ведет и что хочет сказать. Возможно, что Ст. Сем. Дудышкин (1820-66) заметил только эту «темноту», но скорее всего ничего не заметил.

«Скверный анекдот» замолчали.

А у Святополк-Мирского в его английской «Истории русской литературы» я нашел: запихано в самый конец книги.

После отзыва о «Селе Степанчикове» (1859), где в Фоме Опискине дан прообраз Головлева и представлен Гоголь, как автор «Переписки с друзьями» (1847), несколько строчек о «Скверном анекдоте»:

«Жестокость, но в еще более сложной форме, можно найти в самом характерном из коротких рассказов этого периода, в «Скверном анекдоте». Так же подробно, как в «Двойнике», Достоевский описывает мучения униженного сознания, испытываемые высоким чиновником на свадьбе мелкого чиновника его департамента, к которому он является неприглашенный, ведет себя по-идиотски, напивается и вводит бедного чиновника в большие издержки».

«Скверным анекдотом» Достоевский начинает свой путь туда.

Из дома Млекопитаева, этого паучиного гнезда, он поведет меня в баню к Свидригайлову («Преступление и наказание», 1866): баня с пауками — это «вечность». Из черной бани мы пойдем со свечей в чулан Ипполита («Идиот», 1869) и там Достоевский покажет Тарантула: этот Тарантул — творец жизни и разрушитель твари. А как заключение, в «Карамазовых» (1880) Иван вернет туда свой билет на право разыгрывать скверный анекдот или, просто говоря, на право быть на белом свете в этом Божьем мире:

«И у кого еще повернется язык повторять Divina comedia — так вот она какая «божественная»: этот на земле и **там** — вселенский скверный анекдот!»

ЗВЕЗДА - ПОЛЫНЬ

«И не все ли равно, что во сне, что наяву».

1.

«Вонмем! — услышим святаго Евангелия чтение»... Остановитесь! Слушайте, послушайте, что рассказывает человек, этот бунтовщик, заговорщик, этот злоязычник, блудница, изверг; вот его поймали, избили и надругались, приволокли ко кресту и, скрутя веревкой, уж подтянули, чтобы вешать, уж по лестнице вскарабкались «воины» с молотком и гвоздями — и вдруг говорят: «Ступай, тебя прощают».

Да ведь это судьба Достоевского (22 декабря 1849 года, Петербург). Протомив в Петропавловской крепости, на рассвете декабрьского утра его привезли на Семеновский плац — по пути позорной колесницы не вайи «креста и славы» встречали его «осанной», а тихие рождественские елки — «Дева днесь Пресущественного раждает». С другими осужденными его поставили на плаху к столбу и палач, дыша в лицо конским паром, надел на него саван. Заживо, как в гробу, закрытый крышкой, он слышал, как сквозь звеневшую под раздувавшимся от ветра колпаком рождественскую песнь: «к смертной казни через расстреляние» — отчетливо прозвучали слова приговора. И наступила трепетная, длившаяся бесконечно, эта последняя минута и вдруг ударом под душку команда зеленого, как елка, офицера, темной стеной притаившимся солдатам: «На прицел!» Каким громом вскинулись ружья и громче выстрела: «Остановитесь! — кричат — курьер помилование привез». Сдернутый с лица саван острым полыснул по глазам: «Ступай, тебя прощают».

Да с плахи так, в карманы запустя руки, никто не уходит, изволь назад в тюрьму под замок, а из тюрьмы «помилованному» одна дорога — каторга в Сибирь.

Четыре года (1850-1854) Достоевский провел на каторге. И только через девять лет (1859) вернулся в Петербург.

После прерванной арестом повести «Неточка Незванова» (1849) впервые в 1859 г. появляется имя Достоевского: «Село Степанчиково», «Записки из мертвого дома», «Униженные и оскорбленные», «Скверный анекдот», «Записки из подполья», «Преступление и наказание», «Игрок» и, наконец, «Идиот» (1868-1869).

Тот, кто стоял на пороге смерти — неминучей, «наверно», вернувшись к жизни, какими глазами он смотрит или — каким кажется его обрезанным глазам наш серенький мир, правда, в газетах в хронике попадает про убийства или «откусил ей нос», но вообще-то без протоколов — от обеда до обеда.

Да ничего подобного — глаза не наши.

Все обыкновенные краски погасли и все будничные звуки заглохли — все стало ярче и громче: слух проник в первозвук и глаз в глубь света. И все движения изменились, и то, что за год — минута, а «сейчас» — как вихрь. Все навыворот, кривится и коробится, опрокинутые лица, какие-то угорелые кошки, нос лезет туда, куда его не спрашивают, руки не могут найти спокойного места — все кверху ногами пошли и, продолжая улыбаться остатками еще недавнего смеха и сами на себя облизываясь, друг друга подталкивают и, как черви, в три погибели под колотушкой, крючки и сверла, разнообразие и без-образие. И самые тайники мысли распахнули окна, запутанные тряпьем мыслей и слов.

Нет больше привычной «действительности» (реальности), остались от нее одни клочки и оборки. И если взглянуть нашими будничными глазами, вся эта открывшаяся действительность невероятна и неправдоподобна, трудно отличить от сновидений.

Но что чудно, оказывается, что чем действительность неправдоподобнее, тем она действительнее — «правдашнее». И только в этой глубокой невероятной действительности еще возможно отыскать «причину» человеческих действий.

А если рассечь душу человеческую или потрясти ее до самых корней, взблестнет такая действительность, дух захватит, и страж жизни — человеческое сердце устоит ли? Это действительность экстаза, действительность эпилепсии, действительность радений и «бесноватых».

И что возможно, мне так чуется, эта непостижимая действительность и есть п е р в о ж и з н ь всякой жизни.

Действительность Достоевского мало чем похожа на нашу. Но и вообще, действительность литературных произведений — совсем это не то, что наша уличная. И до чего глупо, а говорят и притом глубокомысленно: «Так в жизни не бывает!» — точно жизнь одномерка и в кулак захватишь.

Действительность многослойна и чем глубже, тем несообразнее, а в «Идиоте» — что и вообразить невозможно.

Все залито зеленым — горькая зеленая звезда. Зеленое с красным (зеленое — в желтое, красное — в коричневое). Зеленые деревья, зеленый шарф (Иволгина), зеленое шелковое стеганое одеяло (Ипполита), зеленая скамейка, зеленый диван с коричневой спинкой (у Мышкина), зеленый дом (Рогожина), зеленый полог над кроватью, изумруды Келлера, зеленая июльская луна. И кровь: алое с блестящим жуком на зеленом шарфе Рогожина, алый окровавленный платок Ипполита, красные камелии, красная стена, запекшаяся кровь на рубашке у зарезанной Настасьи Филипповны, лужица крови на каменной лестнице; коричневая картина Гольбейна, коричневый скорлупчатый скорпион (сон Ипполита), желтый шарабан — мелькающие красные колеса, и летучие мыши с черной бедой. И сквозь кроваво-зеленое в неисходной тоске сверкающие горячие глаза (Рогожин).

И все овеяно музыкой.

Попури из итальянских опер — Риголетто, Трубадур, Гугеноты, барабанная Сорока-Воровка и русская мешанина (Павловский вокзал); манящие воздушные лебединые руки — баллады Шопена, сиплый бас — военно-вакхическая песня (генерал Иволгин), «Со святыми упокой» по «отстреленной» ноге — доносит панихиду с Ваганькова из Москвы с цыганскими «полями да метели? ца» и венгеркой Аполлона Григорьева; и вдруг вырвавшаяся песня, и единственный раз, ее поет молчаливая Мари

и злой свист камней в гадину» и «паука» — в эти тихие, невинные глаза; «Надгробное рыдание творяще песнь...» «И Дьявола упразднивый...» — Троицкий собор, отпевание русского Фальстафа и реквием — из швейцарской деревенской церкви; беснующееся гнусавое «шаривари» и сквозь бряз и бурение охрипших скрипок нашептывание золотой мечты: «Жил на свете рыцарь бедный...»; лязг гильотины и сап намыленной веревки, шурш скорпиона и жужжит муха; и на мгновение все и тихо и мертво, и в это мертвое — зарезанное — в эту зеленую зоркую луну под хлест плетки исступленная с фарфоровой россыпью молитва к Звезде-надзвездной: «Матушка («Царица Небесная!») Королева! Сто тысяч, сто тысяч! Матушка! Повели мне в камин: весь влезу, всю голову свою седую в огонь вложу... Больная жена без ног, тринадцать человек детей — все сироты, отца схоронил на прошлой неделе, голодный сидит, Настасья Филипповна!» «Прочь!» и в заклубившемся вихре под колокольчик троек, вихрем захлебывая звуки, один над всеми голос — этот нечеловеческий, воплем исшедший из рассеченной души, озаренный невечерним первосветом, жизнью всякой жизни — голос человеку, всему человеку, невыносимый:

Великий — и грозный — Дух.

Хлыв искрящихся ощущений — по силе, как обухом по голове, как щипцы и зубы в сердце — они изнывают сказаться в мыслях и выразиться словом. Слово никогда не покроет мысли, а исподняя мысль не выйдет из-под спуда: я говорю одно, думаю другое, а поддумываю третье, но я и говорю так, а не по другому, и думаю, как думаю, потому что «поддумывается». А это и называется — «двойные мысли».

Простым глазом и этим ухом не добраться, надо углубить действительность до невероятного — до бредовой завесы.

Достоевский рассказывает о игре — столкновении мыслей, его герои — мысли, его мир — мысленный мир. И это вовсе не значит «беспредметный» — сила и движение мысли живее всякой «физиологии». И когда поминается «завтрак» и шампанское или французский архиепископ Бурдалу, это только для скрепы этой мысленной жизни.

«Съедобное» у Гоголя и «мясное» Толстого — у Гоголя «еда» поддерживает нереальную сказочную жизнь его «басаврюков» от Красной свитки до Чичикова включительно, а у Толстого без костей и мяса немыслима сама мысль — Достоевскому все это ни к чему: Достоевскому довольно «лужицы крови».

И вовсе не преднамеренно, чтобы показать свою невероятную действительность, которая действительнее — истиннее и голее нашей обычной, Достоевский поднял температуру у своих героев.

Лихорадка, горячка, солнечный припек, бессонница — двое суток не спал, перепой, внезапность, вдруг и разом, «синяки фортуны», жизнь исковерканная судьбой, в «последних градусах» чахотка (Ипполит), одержимость — «прожгло» и собаки обгрызли (Рогожин), и вывихи — физические уклоны — эпилептик, «лучезарнейший князь Мышкин, жених невозможный и немыслимый и «демоническая» красота Настасьи Филипповны — лунной — с рождения монашка, Саломония, худая, бледная, с загадочно-сверкающими глазами — существо совершенно из ряду вон, а между тем по такой недотроге прошлись пухлые белые руки. И все вот так, с задоринкой.

Но иначе Достоевский не видит, да и как иначе видеть, отпущенному назад в жизнь с порога наверной смерти: в его глазах пожар.

Весь наш мир — горит.

И в этом пожаре сгорают все занавешивающие мысль словесные украшения и всякие румяна показной мысли, обнажая исподнюю мысль.

Нереальные, эти только мысли-герои Достоевского живы и действуют, как кожные, а по встрепету неотразимы. Слушайте, «любуйтесь», только чур! Не трогать пальцами: рука скользнет по воздуху.

А если в литературных произведениях искать слова о человеке и о тайне его жизни — за обугленным остовом крашеных мыслей в живых, таящихся под пеплом, мыслях, читаю горькую разгадку.

2.

Ничего обыкновенного. Все странно, необычайно. Но и в не-

обыкновенном степень: жизнь, ведь, не сплошная, разнокольчатая.

А то, что на воспаленный глаз представляется второстепенным — это все наше «дневное», не подымающееся ни до каких градусов, «ординарное», это серое, невзрачное, «как принято», «как следует», «как должно», что «рождается, чтобы умереть и умирает, чтобы родиться», повторяя судьбу извечно-проклятой муки — поиграть в солнечном луче и бесследно пропасть с закатом. Это семья Епанчиных, Иволгиных, Птицына, их приятелей и знакомых.

К этому сорту «ординарности» «всяких людей» — Достоевскому они вот куда! — можно присоединить «мнительных» писателей (чем сильнее честолюбие, тем раздражительнее обидчивость), а из современности ловкачей «кино» и вообще всю критическую тлю — охотников посудачить на литературные и философические темы, сюда и меня можно ткнуть с моим «с-гусяводизмом», «формализмом» и «вербизмом». И всем нам, «вместе взятым», всей этой полыни, отравляющей источники жизни, ее цвет и рост (слушайте!):

«Ненавижу вас единственно за то, вам, может быть, покажется удивительным, единственно за то, что вы воплощение — вы олицетворяете — вы верх самой наглой, самой самодовольной, самой пошлой и гадкой ординарности».

«Ординарное» или «оригинальное», главное или второстепенное, судьба у всех одна — участь мухи. И не все ли равно, как уйти с поверхности земли: под забубенный «мат» за какую-то пропавшую миску — так умирает одинокая старуха, та самая, которую единственная племянница, единственно по прирожденной злости укусила за палец, или с приподнятой по-заячьи, пусть как бы выточенной из мрамора, ногой под ножом любви (от слова «любва») — Настасья Филипповна.

Любовь-и-смерть всех равняет.

«Любовь — эта огненная печать на человеческом сердце, «любить» — это дыхание жизни. Но даст ли мир моей душе этот пламенный дар?

«Жалеть!» а жалость — она, может быть, пуще любви. А «любовь» — ее не отличишь от злобы. Злобу и ненависть знает вся-

кий, кто горячо любил. Люди и созданы, чтобы друг друга мучить, и чем глубже любят, тем больше и мучают.

(Между любовью до ненависти и жалостью до любви — «симпатия», по-русски «слабость». Но что она значит в моей судьбе? — домашний беспорядок, поблажка и сквозь пальцы).

«Красота!» — если что-то значит это обветшалое и вечно-волнующее слово. Какой признак «красоты»? Да один только и есть признак: «страдание» — и чем больше страдания, тем она совершеннее.

«И такая красота — сила, с этакою красотою можно мир перевернуть».

«Страдание!» Страдание — боль. Покою и миру нет места: что не боль — ничего, пятно, пустое место. И «сострадание» — «этот главнейший и, может быть, единственный закон бытия всего человечества».

«Но до чего может дойти ваше сострадание? Сострадая страданию одного, можно причинить страдание другому!» — так спросит разумный человек, в глазах у которого мальчики не прыгают. (Настасья Филипповна — Мышкин — Аглая).

А вот вам человеческое удовольствие при неудачах ближнего, оно, пожалуй, кореннее всякого сострадания. Все можно подделать, только голос не обманет, да это удовольствие, выражающееся в особенной «неделикатной» усмешке, не скроешь.

«Красота-страдание» и еще есть «страшная» сила: «красота-смирение».

Но какой смысл в моей безответности перед темным и глухим жребием, распорядившимся раздавить меня, как муху?

И что поправит смирение, коли тебе морду набьют? Да и еще свиснут.

(И тут бывает, как в случае со «слабостью» (симпатией): «смиренное презрение» и «презрительная жалость», ни то - ни се).

«Правда!» — Правда и Кривда, два лютые зверя, борются. Правда ушла на небеса, а Кривда на земле волочится; а уходя, Правда оставила земле память — «милостыню». (Читаю «Голубиную книгу»).

«Правда!» — «одна только правда, а стало быть, несправедливо». И только тогда прозвучит справедливо «горькая правда», будет окутана «нежностью» — а что есть более нежного, как «милосердие». Похвальба вон той самодовольной рожи: «ре-

жу правду-матку в глаза», означает отсутствие остроумия, не больше. И такой резак всегда особенно мстителен — и всегда от своего плоскоумия.

Разумные, расчетливые и все рассчитывающие, если бы вы знали: все главные решения в жизни выходят не из логических рассуждений, а от толчков — от «отвращения» или «тут меня и прожгло». Или «совсем не думая, сказал». С логикой-то и до одного места не добежишь, не говорю: вытряхнуться.

Глаза, которые взглянули на четыре стороны в последний раз за минуту до смерти, а эта минута была бесконечной — в бесконечности закружившая в жгут до самых корней все мысли — «последней минуткой», за которую «последнюю» простятся все грехи человеку, эти глаза разглядят всю призрачность и самых крепких неколебимых основ человеческой мучительной жизни.

Но это горькое познание ничего не изменит в жизни человеческого ненасытного сердца.

«Дело в жизни, в одной жизни — в откровении жизни, беспрерывном и вечном, а совсем не в открытии».

3.

Полуденный голос, окликавший Гоголя среди «ужасной тишины безоблачного неба», этот вещий голос слышал и Достоевский.

«Тоже в полдень, солнце яркое, небо голубое, тишина страшная, вот тут-то, бывало, и зовет все куда-то, и мне все казалось, что если пойти все прямо, итти долго и зайти вот за эту линию, за ту самую, где небо с землей встречается, от там вся и разгадка и тотчас же новую жизнь увидишь».

Этот полуденный голос — не простое, окликает не всякого, и кому суждено его слышать, тот — не тот человек, голос «посвящения».

И в жизни «отмеченного» непременно подсунется такое, что другой и ввек не увидит и во сне не приснится.

Это ужас: «ужас, да ужас! вдруг увидеть ее на цепи за железной решеткой смотрителя». И это страдание: «она доходила до таких страданий, что мое сердце никогда не заживет, пока

я буду помнить об этом ужасном времени. У меня точно сердце прокололи раз навсегда».

Однажды окликнувший полуденный голос о т т у д а, проколотое ужаснувшееся сердце и глаза, опаленные заглянувшей прямо в глаза смерти — какой глубокий и таинственный мрак! — вот что поставило Достоевского по силе его слова сверх литературы вровень с пророками.

Достоевский, как Страхов и Аполлон Григорьев, в Петербурге слыли за «славянофилов», хотя Москва, последний из старых славянофилов И. С. Аксаков, не очень-то их жаловала.

Достоевский читал Хомякова, знает и его «заветную» статью в Московском Сборнике 1853 г. (о народных песнях Киреевского) — первое слово в русской литературе о «природной русской речи». Самая суть этих русских заветов не дошла до Достоевского, он продолжает традицию книжной искусственной речи по немецким образцам (Карамзин) и переводам с французского (Пушкин): манера письма и словарь потершегося газетчика.

Но хомяковское не прошло мимо Достоевского: «народное» у Достоевского — это доживающий дни дореформенный цветистый подьяческий слог (Лебедев), переводу не поддается, как самозвучащее. Это «народное» имело большое влияние на стиль Розанова. Подьячие давно все вымерли, никто уж так не выражается, но дух природного слова, его лад, жив, и русскому, наряженному и в самое шутовское платье, будет ближе и понятнее всякой выглаженной по французским правилам тургеневской речи.

«Подьяческое» у Достоевского совершенно. А вот с другим, тоже народным, «купеческим» не удалось — и это при Островском. Нет, что-то от Горбунова, да и то не от «ядра» и «бомбы», речь Рогожина.

Д. С.-Мирский в своей английской «Истории русской литературы» отмечает, и совершенно верно, что в жизни Настасьи Филипповны, Рогожина и Мышкина выпадает полгода: Москва. А вон критик Чижов (Азарьин) заметил, что Коля Иволгин трипадцатилетний через полгода вдруг становится пятнадцатилетним — и тоже верно. Но разве это важно? У Достоевского «живая жизнь» мыслей, а для живой мысли последовательность, как известно, не обязательна.

Достоевский ученик Гоголя — Гоголя сказочника, первого словесного искусника в русской литературе, но что в «Идиоте» от Гоголя? Искусство слова Достоевскому тьма египетская*).

И вот тайна слова: среди растрепанных фраз, всегда дельных, конечно, не словесных, кипяток мыслей, вдруг страницы, пронзающие сердце, по встрепету ни с чем несравнимые, единственные, навсегда памятные.

Кто напишет «Кроткую»? А тут, в «Идиоте», прощание Мышкина с Настасьей Филипповной!

Это как в народной песне со дна сердца обжигают слова — какого сердца! Это как у Аввакума — не писатель — в канун венчающей его огненной судьбы: огонь слов.

Ошибутся, если взглянут на героев Достоевского исключительно как на русских. Русского, скажу, столько же в них, сколько английского в датском принце Гамлете: Достоевский рассказывает о человеке.

4.

«Осел добрый и полезный человек».

Это житейская аксиома, кит, на котором держится все «дело жизни» и без которого ничего и не «открывается»: пить-есть надо.

«Бесподобный» — это человек, не лгущий на каждом ша-

---

*) Ходили мы в болгарском платье (XI в.) — с этого начинается история русского слова. Потом нарядят в блестящие церковно-славянские одежды (XVI в.), потом, дубинкой околотя драгоценности, заставят напялить тяжелые немецкие камзолы, а потом кургузые прямо из Парижа (XVIII в.). Так и пойдет «русская литература»: кто в лес, кто по дрова (XIX в.).

За Гоголем (южно-русский лад) и Марлинским (с польского) — первыми искусниками, я назову В. А. Слепцова (1836-1878). Возрождение начнется символистами, но неудачно: слащавый провинциализм Сологуба, гоголевский копиист со стрекотней Заратустры — Андрей Белый и вроде как по-латыни «пушкинская» проза Брюсова.

Всякая попытка искусства слова на Руси глохнет. И нет ничего тут удивительного: в самом деле, какое-то жалкое искусство над искусственной природой.

Искусство — это значит распоряжаться: вертеть и перебрасывать. А как можно что-нибудь передвинуть одеревенелое, искусственно закованное? Мы ведь и думаем-то не по-русски.

гу. А «подобный» о такой роскоши и мечтать не смей. «Ложь — конь во спасение».

Два предмета отличают человека от четвероногого, как копытного, так и бескопытного: «свободная воля» («не хочу в ворота, разбирай забор!») и деньги. В свободе никому не отказано — пускай себе дурак покуражится! А деньги — «деньги тем всего подлее, что они даже таланты дают!» — деньги с неба не валятся, изволь за ними крысой протачивать себе ходы.

«Я обокрасть сам себя не мог, хотя подобные случаи бывали на свете!» А это значит, воля волей и деньги деньгами, а есть еще «путаница» — тарантулова паутина: мор на волю и ржа на деньги. Это первое предостережение о т т у д а, если судить по-человечески, на которое, впрочем, плевать каждому, как и на всякое «потом» — «что будет потом?».

«Слова и дело», «ложь и правда» — все вместе и искренно. «Слова и ложь», чтобы уловить человека, а «правда и дело», что выражается в раскаянии, но с неизменной мыслью через то выиграть, т. е. опять-таки уловить.

«Уловить человека» — это тоже житейская аксиома, тоже кит, нырни зверь под воду и все «дело жизни» разрушится: не нагишом же в самом деле «открывать» жизнь!

«Если бы кто другой мне это сказал про тебя, то я бы тут же собственными руками мою голову снял, положил бы ее на большое блюдо и сам бы поднес ее на блюде всем сомневающимся: вот, дескать, видите эту голову, так вот этою собственной своей головой я за него поручусь и не только голову, но даже в огонь».

И все это говорится — клянется и божится — не больше-не меньше, чтобы при удобном случае, улучив благоприятную минуту, задушить спящего приятеля подушкой или мокрым полотенцем, а случись среди бела дня: намотаю на бритву шелку, закреплю, да тихонечко сзади...

Как, стало быть, надо все с оглядкой — каждый шаг — от человека всего можно ждать и никакое «побратимство» не спасет от ножа (Рогожин и Мышкин, обменявшиеся крестами). Эти дела и с крестом делаются, как и с папироской: «и когда приятель отвернулся, он подошел к нему осторожно сзади, наметился, возвел глаза к небу и, проговорив про себя с горькою молитвой: «Господи, прости ради Христа!» — зарезал приятеля

с одного раза, как барана, и вынул у него часы». (Серебряные на бисерном желтом шнурке).

Человек работает, как крыса — «роет крот».

Походя украл три целковых и в тот же вечер пропил в ресторане; в краже обвинили прислугу, и на другой же день согнали со двора: дом строгий. «И вы допустили?» — «Да неужели мне было пойти и сказать на себя?».

«С необыкновенною готовностью признавался он в таких делах, что возможности не было представить себе, как это можно про такие дела рассказывать. Приступая к каждому рассказу, он уверял положительно, что кается и внутренно «полон слез», а между тем рассказывал так, как-будто гордился поступком».

Бесстыдство и гордость этим бесстыдством — еще житейская аксиома, кит из семи третий, на котором покоится земля. Я смотрю не на вас, не на нашу улицу, я читаю кровавую книгу: человек.

И солдатам ведь по уставу, когда в стрелки рассыпаются, целиться велено в полчеловека — так и сказано: в «полчеловека».

И у одних все хорошо выходит, а у других ни на что не похоже. Не так!

Вот Иван Фомич Суриков при его-то «смиренной» бедности и вдруг получивши миллион — миллион золотых рублей. Он все не знал, куда их девать, ломал себе голову, дрожит от страха, что их украдут и, наконец, решил закопать их в землю. Я посоветовал ему вместо того, чтобы закапывать такую кучу золота в землю даром, вылить из всей этой груды золота гробик «замороженному» ребенку и для этого выкопать ребенка. Эту насмешку мою Суриков принял со слезами благодарности и тотчас же приступил к исполнению плана. Я плюнул и ушел от него.

Действительность, чем она недействительнее, тем она правдоподобнее. А осенит вдохновение, твоя ложь становится вероятнее, если ловко вставить не совсем обыкновенное, что-нибудь уж слишком резкое или такое, чего даже совсем не бывает и быть не может.

Мышкин и Аглая на зеленой скамейке в Павловском парке. Аглая о Иволгине:

«Знайте, он любит меня более своей жизни. Он предо мной сжег свою руку, чтобы только показать, что любит меня более своей жизни».

«Сжег свою руку? Что ж, он принес сюда с собой свечку?» — «Да, свечку». — «Целую или в подсвечнике?» — «Половину свечки... огарок. И спички принес. Зажег свечку и целые полчаса держал палец на свечке». — «Я видел его вчера, — сказал Мышкин, — у него здоровые пальцы».

А вот это почище будет: из детских воспоминаний Лукьяна Тимофеича Лебедева, называющего себя Тимофеем Лукьяновичем из «самоумаления»: у него обе ноги целы, навиду, и ни одной деревянной. А между тем, в 12-м году в Москве французский шассер навел на него пушку — эта пушка нынче в Кремле, одиннадцатая от ворот, французский фальконет — и отстрелил ему ногу «так для забавы». Поднял он свою ногу и пошел домой — да по дороге, помнит, еще в лавочку забежал хлеба купить, очень голодно было. А потом похоронил ее на Ваганьковом кладбище, поставил над ней памятник; с одной стороны: «здесь погребена нога коллежского секретаря Лебедева», а с другой: «покойся милый прах до радостного утра». И служит ежегодно по ней панихиду, нарочно для этого в Москву ездит.

А что такое жизнь — суть жизни — «дело жизни» — не одно ли это мое вдохновение? от умиления моего? Иначе и «открывать»-то, пожалуй, нечего.

«Тунеядец», история XII века, объявил сам собой и без всякого принуждения, что укокошил и съел лично (не вдруг съел, конечно, а были и консервы и колбаса) и в глубочайшем секрете 60 монахов и несколько младенцев (мясо чересчур приторное), штук 6, не больше; до светских же взрослых с этой целью никогда не касался. А объявил монахам же, когда от съеденных и памяти не осталось: «волею Божиею пропали». А иначе он и не мог поступить по общему убеждению — по «общей связующей мысли». И по этой общей связующей мысли его или сожгли живьем или «святым» объявили.

В коловращении людей такая общая связующая мысль на аркане водит человека и арканом погоняет. И закон саморазрушения, как и самосохранения, оба одинаково сильны в человечестве и неизменны.

«Несчастный»! «Несчастными» называются все осужденные преступники: пойманные — пойманные разбойники, воры и мошенники — им с крестом подают милостыню. (Я долго хранил «копеечку» — на этапе мне подали, заветная, счастливая, как веревка с повешенного). И один такой «несчастный» убил каких-нибудь 12 душ и заколол штук 6 детей — «единственно для своего удовольствия».

Но не все ли равно, для своего ли удовольствия или из самосохранения, как тот, вынужденный бедностью, или по закону разрушения — потоньше будет всяких и удовольствий и оберега, человек попал в выкидыши — какими словами встречает он восходы и закаты?

В Москве в 40-х годах прошлого века жил доктор Гааз, ездил он по тюрьмам и острогам, не пропускал ни одной арестантской отправки в Сибирь. У него не было различия в преступлениях, звал всех «голубчики». И так до самой смерти. Его знали по всей России и в Сибири все преступники.

«У него (не у Гааза, а у Павлищева) была всю жизнь какая-то особая нежность ко всему угнетенному и природой обиженному, особенно к детям».

А называется такое чувство «единичная милостыня» в противоположность организациям общественной помощи. Это тоже в самой природе человека: «желание прямого влияния одной личности на другую» и моя непосредственная воля поправить какие-то ошибки уже не человеческие или восстанавливать что-то, устраняя изводящее душу: «почему?».

И разве это поле не богатое для «открывания» жизни?

Начало XVIII века, Петербург: Степан Глебов посажен на кол, просидел 15 часов в шубе на морозе и помер «благодушно». А Ипполит — «этот завистливый червь, перерванный надвое, с кашлем» фордыбачится: ему обязательно подай людей — сострадание, и деревья — природу, отказавшую ему в жизни.

Но кого мне больше всех жалко — это я точно о себе рассказываю, о своей ночной тихой жалобе — «терпеливые души»: с какой покорностью и горьким смирением они проходят в жизни, стараясь быть как только можно незаметнее, они идут со своей белой палкой — болью-палкой под этот ползучий голос нежданных-негаданных напастей, и все как бы ищут чего-то:

как бы потеряли что-то. И в ответ мне — я разглядел — усмешка.

Хаос, сумбур, сердечная бурда, беспорядок. Мои разбитые мысли и этот неподвижный взгляд. И все это замечай и все предугадывай.

И все торопятся, бегут за счастьем.

«Лучше быть несчастным, но з н а т ь, чем счастливым и жить... в дураках».

Но ведь это оклик приговоренного, кричит «выкидыш» — для него весь мир из одних счастливых. А я еще живой, загадываю с вечера на утро, жду — я согласен на «дурака», тем более, что и знать-то по-настоящему нечего.

И все мы торопимся, бежим за счастьем.

И за каждым из нас «тихими стопами» следует неизбежное — наша судьба, чтобы и счастливых и несчастных в свой черед задавить, как муху.

5.

Что мы знаем о самих себе, о судьбе, о мире и о судьбах мира? Кроме нашего собственного вдохновения? — огород-то городить всякому позволено. И чем может ответить человек из своего круглого неведения?

— в звездах горят небеса —

Темное, глухое — немые зеркала-глаза, покляпое пахмурое мурло — Тарантул. И это там — за гоголевскими звездами и пушкинской зарей. В его скорпионьих лапах мера: законы природы. И нет для него ни высокого, ни святого, нет никому пощады: одна у всех доля.

«Сидит она, лицо на меня уставила и странно так смотрит, как бы качается. Муха жужжит, солнце закатывается, тишина». И та же тишина на картине Гольбейна: труп измученного человека.

Оно коричневое скорлупчатое — этот пресмыкающийся гад — от головы к хвосту тонеет. Из туловища две лапы. Два усика из головы в виде двух крепких игл, тоже коричневые, два усика на конце хвоста и на конце лап. Оно бегало очень быстро, упираясь лапами и хвостом, и когда бежит, туловище и лапы изви-

вались, как змейки, с необыкновенной быстротой, несмотря на скорлупу — и на это было очень гадко смотреть.

«Зачем и для чего?». Кто мне ответит? А раз человеку не открыто — жизнь идет в темную, я вижу единственный способ остановить эти преследующие шаги — этого скорлупчатого гада, не дожидаясь, когда он укусит, самому оборвать — расплеваться и кончить этот «скверный анекдот».

Если я вижу свой срок, я — со свободной волей — я из одного упрямства предупреждаю хозяев: я — человек — я смею. Слышите, в этом «смею» звучит: «я есмь»!

И еще я подумал: если такой кавардак в жизни, трудно и вообразить, чтобы и там было порядочно. А какое мне дело, что там чего-то не доделали, в чем-то ошиблись и с ошибкой устроили этот живой мир — зажгли эту горькую зеленую звезду, обрекая ее на отчаяние.

Вам, повторяю, вы еще не думаете о сроке — вы живете и дело вашей жизни в открывании жизни, к чему вам «ежик»? — зачем вам «дружество, забвение обид и примирение»? но мне, хотя бы на один миг... Но где искать или кто принесет мне этого «ежика», который ежик и помирит меня со всей бессмысленностью моего «я есмь».

«Или зажечь мир с четырех концов?».

И слышу голос из подспудных голосов моей взбудораженной мысли: «Я первый и дров принесу, подожгу — и убегу прочь».

Вот так и «посмел!»

«А в самом деле, в которое же время года лучше ловить чижиков?»

Так поспорили однажды старый да малый, и оба ничего не знали, но каждый думал, что что-то знает, и поссорились.

Впрочем, все равно, как погибать...

6.

Действующие мысли, не лица — так только и можно говорить о героях Достоевского, это не Анна Каренина.

Самые яркие живые мысли в «Идиоте»: Ипполит — Мышкин. Они всю паутину и распутывают. «Слово» Мышкина на фар-

форовом вечере только продолжение «объяснения» Ипполита. Ипполит обмолвился о религии вообще — о Провидении и Вечной жизни, а Мышкин подхватывает его слова и переводит в жизнь — в историю: и уж не вообще религия, а христианская религия.

А где искать в мире христианство? «Католичество — все равно, что вера нехристианская, католичество римское даже хуже самого атеизма». Это убеждение Мышкина «истинного христианина». Да христианства нет нигде и не было никогда. Капитон — Капитон Еропегов не существовал и не существует.

«Да позвольте, как же так не существует: Ерошки Еропегова не было!» — «Ну вот, то Ерошка, то Капитошка!» — «Капитон... подполковник... в отставке... женился на Марье... на Марье Петровне Су... Су... друг и товарищ... Сутуговой... с самого даже юнкерства. Я за него пролил... я заслонил... убит. Капитошки Еропегова не было! Не существовал! Да если так рассуждать, выйдет, что и воскресшего солдата не было, Колпакова не было, и моя серая пристяжная не заговорила?»

Христианство должно быть.

Мышкин верит в русскую душу, в русское сердце, в русскую жажду — в русского Христа. Под сверлящим винтом все его сердце кричит. И никакой историей его не вынудить «атеизму поверить»: он истинный христианин — русский христианин.

7.

Три сестры Епанчины — три кобылицы. Старшая Александра музыкантша, бренчит на фортепьянах, пускает рулады, ест и спит, и во сне снятся ей куры — 9 куриц (три-три-три) и кудластый монах: она его видит одного в темной комнате и хочется ей войти и чего-то страшно. (По толкованию генерала Епанчина: «мужа надо»). Средняя Аделаида — рисует травку и деревья, «ландшафты» и никогда ничего не может кончить. И младшая Аглая — с норовом: «девка самовластная, сумасшедшая, избалованная — полюбит, так непременно бранить вслух будет и в глаза издеваться». На нее нужна плеть. Рогожин избил до синяков Настасью Филипповну — обознался, мерил своей меркой, а вот бы кого хватить! А в конце-то концов по Аглае плетка прошлась — какой-то «проповедник» постарался, эти

сумеют и без кулаков (наш кулак, как известно, жилистый, узловатый, обросший каким-то рыжим пухом — нет, не годится!) и она к религии обратилась в союзе с «эмигрантским графом, а на самом деле, никаким не графом, а с Фердыщенкой, только с «манерами». Времени верь — все пройдет!»

Есть тайна влечений человека к человеку: почему к одному льнет, а от другого отбрыкивается. В чем эти чары, кто-ж его знает! Что общего у Мышкина с Аглаей. Ничего. Совсем другой природы, другой замески. Мышкина зачаровала его противоположность — Аглая. А Настасья Филипповна одной породы с Мышкиным; она ему своя и он ей свой. Но она зачаровала Рогожина — свою противоположность. Страсть к ней Рогожина, как влечение Мышкина к Аглае — лунного к солнцу, кентавра к Астарте. Что из того получается? И получилось: душевная ночь (Мышкин) и кровь: «с пол-ложки столовой на рубашку вытекло».

Одни родятся для земли, другие для неба: у одних белый огонь, у других разожженный уголек в крови. Настасья Филипповна — для неба, не земная, серебряная. И когда это сделал с ней Тоцкий, она «удивилась», а потом почувствовала такое отвращение, в пруду утопиться, вот что ей оставалось. Но она не утопилась. И понесла всю вину «продажной», лютой ненавистью ненавидя этого Тоцкого. Это горькое сознание измены и злоба разрисовали ее лицо таким, вопиющим к Богу, страданием.

Ее судьба — судьба Мари, швейцарской девочки, над которой тоже какой-то французский Тоцкий сделал и бросил. Только на Мари другие пальцем тычут: «гадина-паук!» — Мари от своей беды получила только горе, а Настасья Филипповна в батистах прожила жизнь и не другие, сама себя назвала «гадина». А в глазах людей бывалых — «те, что нынче в долговом отделении присутствуют»— нет разницы: Арманс, Каролия, княгиня Пацкая, Настасья Филипповна — «объедки».

«Бесноватая», ее судьба — судьба бесноватой Саломонии. Огонь вошел в нее и она готова в воду — «все равно пропадать!» — а бежит чутьем к Мышкину от Рогожина, который для нее страшнее воды. Да Мышкин, хоть и юродивый — «таких как ты Бог любит» — «человек» — светло и невинно, «пастушески» смотрит на жизнь, да не юрод Пречистыя Девы Марии, он родился таким, но подвига отречения от даров Божьих не прошел, он

не Прокопий, ни Иоанн, устюжские чудотворцы, он чудеса не творит и демонский пожар не погасит. И это не «сто тысяч» пылают в камине, а горит душа человеческая.

Бесноватая Анастасия — сестра бесноватой Саломонии.

А ведь только бесноватая «небесная», серебряная, могла сказать земному такие неподъемные слова о любви: «Вы одни можете любить без эгоизма, вы одни можете любить не для себя самой, а для того, кого вы любите».

Закутанная американской клеенкой, лица не видно, только из-под простыни заячья нога, но в окне я вижу ее знакомый мне образ: июльская луна — зеленая Истар — Саломония.

Любить! Что значит: «я люблю»?

«А вот встанешь ты с места, пройдешь мимо, а я на тебя гляжу и за тобой слежу: прошуршит твое платье, а у меня сердце падает, а выйдешь из комнаты, а я о каждом твоем словечке вспоминаю и каким голосом и что сказала» (Рогожин). И еще прибавлю от себя: и никогда-то ей всего не расскажешь.

Только кровь раскует чары. Другого исхода для страсти нет. Тут бы, во Франции, Рогожину самому кровь пустили, а в России, закованный в железа, «несчастный» — в Сибирь на каторгу. И никогда-то не вспомянет, а если и вспомнит, то не иначе: «пострадал из-за паскуды»!

Нина Александровна Иволгина — «терпеливая душа», это женская доля. Женщина рано стареет и ее память переходит в «чистую» любовь и от «изменщика» все она покорно терпит. А вон капитанша Марья Борисовна Терентьева, «вдова, мать семейства, и извлекает из своего сердца те струны, которые отзываются во всем моем существе». Общих правил нигде нет, а сочиняют их для успокоения, а то еще, чего доброго, и разорвет.

Генерал Иволгин — тот Иволгин, у которого 13 пуль, пьяница и вор, но с вдохновением — Фальстаф и мифотворец. «Теперь он даже совсем не посещает свою капитаншу, хотя в тайне и рвется к ней и даже иногда стонет по ней, особенно каждое утро, вставая и надевая сапоги, не знаю уж почему в это именно время».

Старший сын генерала, Гаврила Иволгин — ненавистная Достоевскому «ординарность»: вся его ненависть упала на голову этой середки человечества, всезнающей, завистливой и

трусливой, «трус тот, кто боится и бежит, а кто боится и не бежит, тот не трус»; этот — перворазрядный трус.

Евгений Павлович Радомский тоже не блещет «оригинальностью», но он у Достоевского на правах «резонера», как младший Иволгин, Коля, на правах «хора» («хор» по-русски «шайка»): он встревается, осаживая или одобряя.

О Птицыне что сказать: кажется, он ничего и не говорит, нет, он спрашивает о завещании Ипполита: подставной это или собственный его скелет в Медицинскую Академию? — «а то ведь можно ошибиться, говорят, уже был такой случай». О Птицыне известно со слов Ипполита и Иволгина сына, что Птицын ростовщик, а ростовщику разглагольствовать не полагается.

Келлер — «гвоздь». Весь он как живой при самочинном, не полицейском, а дружественном обыске по подозрению в краже.

«Мы решили обыскать Келлера, лежавшего как почти подобно гвоздю. Обыскали совершенно: в карманах ни одного сантима, и даже ни одного кармана дырявого не нашлось. Носовой платок синий, клетчатый, бумажный в состоянии неприличном. Любовная записка одна, от какой-то горничной, с требованием денег и угрозами. Для дальнейших сведений мы его самого разбудили, насилу дотолкались; едва понял в чем дело; разинул рот, вид пьяный, выражение лица нелепое и невинное, даже глупое — не он».

И еще о Келлере: пример детской доверчивости и необычайной «правдивости»

«До того было потерял всякий признак нравственности — признается Келлер — единственно от безверия во Всевышнего, что даже воровал. Можете это представить! Вам, единственно вам одному, и единственно для того, чтобы помочь своему развитию. Больше некому: умру и под саваном унесу мою тайну. Но если бы вы только знали, как трудно в наш век достать денег! Где же их взять? Один ответ: «неси золото и брильянты, под них и дадим!» Именно то, чего у меня нет. Я, наконец, рассердился. Постоял-постоял. «А под изумруды, говорю, дадите?» — «И под изумруды, говорит, дам». — «Ну и отлично», говорю. Надел шляпу и вышел. Чорт с вами, подлецы вы этакие! Ей Богу».

И наконец, сам Лебедев, крючок и строка. Лебедев такая же заветная мысль Достоевского, как Ипполит и Мышкин, изворот ума — «ум главный (головной) и ум неглавный (сердечный)» —

главного ума и образец «двойной мысли», необычайно подвижной, быстрый и разнообразный — деятельный до самозабвения ловец: за милую душу продаст и не по злобе, а из любопытства к игре «дела».

Да еще сестра Иволгина Варя за Птицыным, видишь ее только тогда — в «плевке» — когда она в лицо брату плюнула. И мать кобылиц Лизавета Прокофьевна — женщина бусурная и стыльная, вот никогда бы не хотел в такие лапы попасть да и вам не желаю. Отец же, генерал Епанчин — «человек общеизвестный».

Из второстепенных: Сережа Протушин (ароматная фамилия): у него Рогожин двадцать рублей достал по «матушкину благословению». Залежев «ходил, как приказчик от парикмахера и лорнет в глазу». Чебаров — «может быть и действительно большой мошенник». Студент Подкумов и чиновник Швабрин, освобожденные старичком сенатором от ссылки. Катя и Паша — горничные Настасьи Филипповны, изумление и страх. Бывший редактор забулдыжной обличительной газеты — заложил и пропил свои вставные зубы.

Обыкновенно писатели начинают со стихов — похвальное занятие для будущей прозы: и глазу и слуху навычка. А Достоевский стихов не писал: он выступил прозой — зазыв на юмористический журнал «Ералаш» (1845). У Достоевского был необычайный зуд на юмористику — сцены с Лебедевым да и сам Лебедев фантастическая юмористика. Да иначе как-же? — без этого смеха просто захлебнуться можно и от своего горя и от всяких горестей. Правда, смех Достоевского не из веселых — это как игра медвежат: цапнет по нарошку, а смотришь под коготками кровь, а у тебя рыло разодрано — липнет кровь. Легкого смеха, что подымается от веселости духа, не ждите: Достоевский родился с тяжелыми мыслями.

Высмеивая «обличителей», Достоевский сам был прирожденный обличитель — Ипполит-Мышкин обличают человека и выражаясь словами Келлера, Всевышнего. Но ему этого мало: в своей нереальной реальности он ухитрился зацепить из «живой жизни» и продернул злободневное.

Время действия в «Идиоте» легко определить по обличительным серым растянутым страницам — годы 1864-1866: вве-

дение гласного судопроизводства — всю эту судебную комедию он и высмеивает.

Действие дневное и ночное пронизано сновидением: сны Ипполита и сны Мышкина. Сны той же невероятной природы и потому так слиты с невероятной природой Достоевского. И можно представить, и тут ничего не будет странного, что в действительности — на самом деле — не было никакого вечера у Епанчиных и никакой китайской вазы Мышкин не разбивал, и свадьбы Мышкина не было и не было убийства Настасьи Филипповны, а все это только снится Мышкину. Можно точно показать, с которого места начинается сон, ведь все уже наперед было сказано, подготовлено, хотя бы о том, что Рогожин зарежет — с первых же страниц. И в сне Мышкина нового неожиданного ничего, только сонная обстановка с шопотом и луной.

«Он пошел по дороге, огибающей парк, к своей даче. Сердце его стучало, мысли путались, и все кругом него как бы походило на сон. И вдруг, так же как и давеча, когда он оба раза проснулся на одном и том же видении, то же видение опять предстало ему. Та же женщина вышла из парка и стала перед ним, точно ждала его тут. Он вздрогнул и остановился; она схватила его руку и крепко сжала ее. «Нет, это не видение!».

«И вот, наконец, она стояла перед ним лицом к лицу, в первый раз после их разлуки, она что-то говорила ему, но он молча смотрел на нее; сердце его переполнилось и заныло от боли. О, никогда потом не мог он забыть эту встречу с ней и вспоминал всегда с одинаковой болью. Она опустилась перед ним на колена, тут же на улице, как исступленная; он отступил в испуге, а она ловила его руку, чтобы целовать ее, и точно так же как и давеча в его сне, слезы блистали теперь на ее длинных ресницах... «Ты счастлив? Счастлив? — спрашивала она — мне только одно слово скажи, счастлив ты теперь? Сегодня, сейчас?!. Она не подымалась, она не слушала его; она спрашивала спеша и спешила говорить, как будто за ней была погоня... «Нет, нет, нет!» — воскликнул он с беспредельной скорбью. «Еще бы сказал: да!». — Злобно рассмеялся Рогожин и пошел не оглядываясь».

Тут и конец.

А вот мне Коля и ежика несет. Ну давайте, откроем скорее клетку — мой ежик, моя надежда, моя мечта, мое очарование, моя любовь!

Я знаю, ты оттуда, ты из первожизни всякой жизни, ты, озаривший мою рассеченную душу. В самом деле, не землей же мир Божий сошелся, и на нашу в чем-то согрешившую землю и тарантул-то пущен только для порядку.

«Слушайте! Я знаю, что говорить не хорошо; лучше просто пример, лучше просто начать... я уже начал... и — неужели в самом деле можно быть несчастным? О, что такое мое горе и моя беда, если я в силах быть счастливым? Знаете, я не понимаю, как можно проходить мимо дерева и не быть счастливым, что видишь его? Говорить с человеком и не быть счастливым, что любишь его! О, я только не умею высказать... а сколько вещей на каждом шагу, которые даже самый потерявшийся человек находит прекрасными? Посмотрите на ребенка, посмотрите на Божью зарю, посмотрите на травку, как она растет, посмотрите в глаза, которые на вас смотрят и вас любят».

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГОНЬ ВЕЩЕЙ

КНИГИ АЛЕКСЕЯ РЕМИЗОВА В «ОПЛЕШНИКЕ»

Повесть о двух зверях. Ихнелат. Париж, 1950.

Бесноватые: Савва Грудцын и Соломония. Париж, 1951.

Мелюзина и Брунцвик. Париж, 1952.

Мышкина дудочка. Интермедия. Париж, 1953.

Огонь вещей: Гоголь, Пушкин, Лермонтов, Тургенев, Достоевский. Париж, 1954.

Бова королевич и о Петре и Февронии.

Тонь ночи. Сны.

Круг счастья: книга о царе Соломоне.

Павлинье перо. Девять сказок и татарская.

Тристан и Исольда.

Аполлон Тирский и царь Агей. Из Римских деяний.

Эта книга под глазом *Даниила Георгиевича Резникова* отпечатана в количестве 300 экземпляров на бумаге *Offset «Pacific»* в типографии *Société d'Editions Typographiques*, 18, Rue du Faubourg du Temple в Париже в июне месяце 1954 года. Набирали: *Николай Степанович Шерстобоев* и *Василий Николаевич Статкевич;* верстали: *Марк Александрович Бисноватый* и *Люи Руврэ;* корректировали: полковник Генерального Штаба *Арсений Александрович Зайцов* († 1 апреля 1954 года), грамматик дидаскал *Александр Самсонович Гингер* и справщик *Александр Григорьевич Савченко*. Цензуровано в Верховном Совете Обезвелволпал (Обезьяньей Великой и Вольной Палаты) *Игемон Деспот Виктор Николаевич Емельянов*.

ACHEVÉ D'IMPRIMER
LE 22 AVRIL 1977
PAR JOSEPH FLOCH
MAITRE-IMPRIMEUR
A MAYENNE
N°6002

НОВАЯ СЕРИЯ ПЕРЕИЗДАНИЙ

В эту серию войдут книги литературного, общественного и религиозно-философского содержания давно распроданные, а вместе с тем, по значению своему и качеству, необходимые широкому кругу читателей.

1 — К. МОЧУЛЬСКИЙ — Духовный путь Гоголя (с издания YMCA-PRESS, Париж 1934), 150 стр.

2 — В. ХОДАСЕВИЧ — Некрополь (с издания Брюссель 1939), 280 стр.

3 — Э. ГОЛЛЕРБАХ — В. В. Розанов (с издания Петроград 1922), 112 стр.

4 — М. ЦВЕТАЕВА — После России (1922-1925). Стихи. (с издания Париж 1928), 160 стр.

5 — Сергей БУЛГАКОВ — Тихие думы. Из статей 1911-15 гг. (с издания Г. А. Лемана и С. И. Сахарова. Москва 1918), 204 стр.

6 — Ф. И. ТЮТЧЕВ — Политические статьи (с издания Т-ва А. Ф. Маркс, С.-Петербург), 178 стр.

7 — К. ЧУКОВСКИЙ — Книга об Александре Блоке. (с издания Эпоха, Берлин 1922), 170 стр.

8 — А. РЕМИЗОВ — Огонь вещей (с издания Оплешника, Париж 1954), 232 стр.

9 — ЛИК ПУШКИНА. Три речи: о. С. Булгакова, А. Карташева, В. Ильина (с издания Путь Жизни, Печоры 1938), 48 стр.